А. ЯЦЕВИЧ

КРЕПОСТНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ



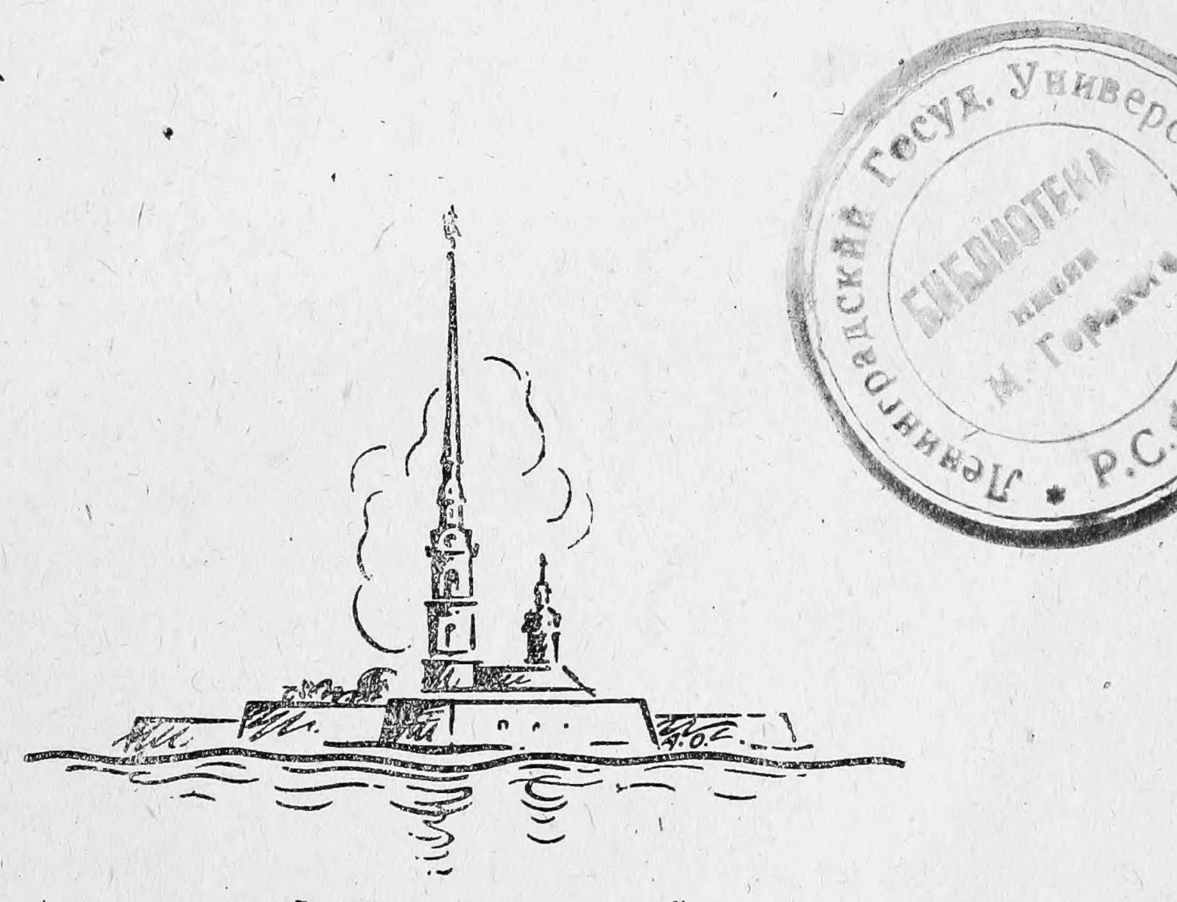
ЛЕНИНГРАД
1933





А. ЯЦЕВИЧ

КРЕПОСТНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ



ОБ-ВО СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ - НОВЫЙ ЛЕНИНГРАД,
ЛЕНИНГРАД
1933

ТРУДЫ
Общества „Старый Петербург—Новый Ленинград“.
Печатается по постановлению Совета Общества.
Председатель Общества Н. М. Осипов.

Обложка, титульный лист и два рисунка работы худ. А. А. Обермиллера.

A. Yatzevitch.
The serfs in St. Petersburg.
Les serfs à St. Pétersburg.
Die Leibeigenen in St. Petersburg.

ОТ АВТОРА.

История Петербурга еще не написана. Царская столица, это „кладбище русского народа“, ждет еще своего исследователя. Между тем настало время подведения некоторых итогов прошлого города; и ряд собранных мною материалов окажется, быть может, небезинтересным для будущего историка и бытописателя Петербурга. Настоящая работа является лишь одной из глав подготовляемого к печати труда, посвященного Петербургу первой трети XIX века, так как крепостные, которым посвящена книга, несмотря на свое численное превосходство, все же составляли лишь один из элементов общего населения столицы.

Кроме ряда исследований, дневников и писем, мною использованы также свидетельства иностранцев, хотя по вопросу крепостного права иностранные мемуары представляют довольно ограниченный материал.

Ни посланник Северо-Американских Соединенных Штатов Джон Куинси Адамс, впоследствии шестой президент республики, ни французский литератор Дюпре де-Сен-Мор, ни итальянский дипломат Фаньяни, несмотря на длительное пребывание в Петербурге, не оставили в своих описаниях северной столицы никаких сведений о жизни петербургских крепостных [1]. Тем не менее мемуары иностранцев сохранили ряд ценных сведений по интересующему нас вопросу, не

отмеченных ни русскими историками, ни современниками. Критическому обзору иностранных источников автор предполагает уделить в будущем особое внимание.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность неизменному сотруднику всех моих работ Ксении Александровне Костенко, за исключительно ценное сотрудничество, которому автор обязан выпуском данной книги.

Согбенный игом жесточайшего рабства русский крепостной кажется рожденным лишь для страдания, труда и смерти.

Coup d'oeil sur l'état actuel de la Russie. Lausanne. 1799.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

У Синего моста на Мойке, перед дворцом Чернышевых, по утрам царило особое оживление. Толпа людей занимала всю площадь и мост. Весь парапет набережной был занят сидящими. Другие, расположившись прямо на мостовой, вытаскивали из котомок всякую „снедь" и тут же приступали к „закуске". Иные же, подложив кулак под голову, мирно спали, пока тяжелый сапог квартального не нарушал их безмятежного покоя.

Эта площадь у Синего моста являлась на рубеже XVIII—XIX веков местом главной „биржи труда" в Петербурге.

Сюда приходили наниматься артели пильщиков-олончан и маляров-ярославцев. Сюда шел и ямской кучер в длинном кафтане, с талией под-мышками, и кормилицы в кокошниках и садовники с лейками в руках. Лакей в заплатанной, с чужого плеча, бекеше, выгнанный вчера „за дерзость", приосанивался при виде проходившего „барина", искавшего недорогого, „приличного" слугу. Все эти завсегдатаи „человеческого рынка" терпеливо выжидали здесь места у купцов или иностранцев. Только бы не к чиновнику! Там бьют и не кормят.—А если и не наймут, то бывалый человек не унывал; он знал, что его приютит в Галерной Гавани какой-либо земляк, продающий воздушные шары у Гостинного двора, либо веселая „солдатка" с Загородного проспекта.

Куда хуже было положение простого крестьянина, которого судьба впервые загнала издалека в северную столицу добывать барину оброк. Он никого не знал в городе и с трепетом смотрел на каждого приближавшегося к нему „чисто" одетого человека. Весной, со всех концов России десятками тысяч стекались они в Петербург, эти, гонимые нуждой, люди, искавшие здесь заработка. Но получить в летний сезон работу,

в виду громадной конкуренции, было делом нелегким. Случалось, что люди, в поисках работы, ходили сюда, безрезультатно, неделями, а иногда и месяцами.

С четырех часов утра, тут на площади, начинал уже толпиться народ. Пильщики с пилами, лесорубы с топорами, часто своим единственным имуществом, целым „обчеством" устраивались по углам площади, в ожидании работы. Между тем их старосты вступали в немилосердный торг с подрядчиками, являвшимися сюда за нужными им рабочими. Заложив руки в карманы своих длинных кафтанов, подрядчики степенно торговались с крестьянами, „прижимая ценой" и норовя оттянуть хоть гривну.

Однако, на этом рынке можно было не только нанять кучера или слугу, но и купить его, по выражению Булгарина, в „вечное и потомственное владение".—Приказчик вел сюда, по барскому приказу, „сбывать с рук" нерадивого гайдука-выездного или пьяницу-лакея. Тут же скромный чиновник с Петербургской стороны, получивший „выгодное место", спешил, на зависть сослуживцам, обзавестись „собственным человеком". Он неистово торговался с приказчиком, набавлял по „полтинному", уходил и снова возвращался, хватал слугу за руки, щупал мускулы и даже открывал ему рот, желая проверить целость зубов. Но увидев продаваемую тут же молодую „девку", он неожиданно менял свое решение. И впрямь, собственная „девка" куда нужнее, чем „пьяный хам". И миловидная девушка, проданная за 47 рублей с полтиною, тут же вручалась коллежскому ассесору, весьма довольному своей покупкой.

Молодой поручик высылал к Синему мосту, на продажу, степенную кухарку с десятилетним сыном, присланную ему матерью к Рождеству в подарок. Но поручик вчера проигрался в экарте и ему надо платить долг чести.—На кухарку сразу находится охотник—бородатый купец, в длиннополом сюртуке, заключающий сделку на имя своего зятя, чиновника. На свое имя купец покупать „людей" не имеет права.—Но мальчик ему совсем не нужен и его, в качестве казачка, покупает какая-то барыня, подъехавшая в щегольской бричке. Вот деньги отсчитаны, нового казачка сажают на козлы и мать навсегда разлучена с сыном.

Подобные случаи происходят тут часто.—Сын продается одному, дочь—другому, отец и мать—третьему. Не разлучали обычно лишь мужей с женами.

Такова была неограниченная власть русского дворянина над своим крепостным. „Россия,—отметил французский литератор Ж.-Б. Мей,—это сто тысяч семей, считающих себя чем-то, и 54 миллиона людей-скотов, которых, как лошадей и быков, продают, дарят, меняют и стегают". В другом месте Мей передает о следующей философии, внушенной дворянами своим крепостным: „После смерти,—говорили крестьяне,—бог воздаст нам по заслугам, а в этой жизни каждый должен покориться своей судьбе"[2]. Но когда лютеранский пастор спросил однажды русских крестьян как, по их мнению, они должны вести себя, чтобы достигнуть царствия небесного, ему ответили, что они сомневаются—попадут ли туда, так как, по их понятию, рай предназначается лишь для царя, да знатнейших бояр[3].

Надо отметить, что крепостное состояние являлось в ту эпоху уделом только русского человека. Как заметил Н. И. Тургенев, каждый дворянин, кто бы он ни был по своей национальности—англичанин, француз, немец, итальянец, также как татарин, армянин, индеец, может иметь крепостных, при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-либо американец прибыл в Россию с негром-рабом, то, ступив на русскую почву, невольник станет свободным. — Таким образом, рабство являлось, по словам Тургенева, привиллегией лишь русских людей.

Между тем эти бесправные „крепостные люди" составляли значительнейшую часть населения столицы. В тридцатых годах XIX века, при общем населении Петербурга в 450.000 человек, число их достигало почти 200.000, то-есть немногим меньше половины всего населения. Основную массу среди них составляли частновладельческие крестьяне. На втором месте стояли казенные — 50.265 человек и, наконец, удельные — 13.919 человек[5].

Таким образом, в своем социальном разрезе Петербург того времени являл собою тип античного невольничьего города, перенесенного в XIX век. Это обстоятельство обратило на себя внимание современников. Один из иностранных дипломатов начала александровского царствования счел возможным даже провести параллель между Петербургом и древними Афинами, где, по сообщению Геродота, на 20.000 свободных граждан насчитывалось 40.000 рабов. В Риме же, имевшем к концу республиканского периода, по словам Цицерона, 1.200.000 жителей, как отмечает иностранец, насчитывали едва 2000 господ. Когда возник вопрос о присвоении рабам особой

одежды, Сенат отверг это „из боязни, чтобы они себя не пересчитали и не узнали бы своего количества“.

„Крепостное хозяйство,—писал Ленин,—было известной правильной и законченной системой“. Формы эксплоатации крепостного труда были в России весьма многообразны. Сюда входили барщина, крепостная фабрика, наконец, оброк и дворовая служба. Последним двум и посвящается настоящая работа. Что касается барщины, то в Петербурге она могла существовать лишь в окрестностях города, крепостной же фабрике должно быть уделено место при обозрении петербургских фабрик и заводов того времени.

Оброчные крестьяне стекались в Петербург со всех концов России. Белоруссия доставляла землекопов, Ярославль—каменщиков, Ярославский уезд—штукатуров, печников и мостовщиков, Любимский уезд—„служителей ресторациий и трактиров“, Галич—искусных плотников, Галицкий уезд—„комнатных живописцев“, маляров и столяров. Чухломской и Солигалицкий уезды поставляли кожевников, мясников и рыбаков, Пошехонский—саешников и хлебников, Даниловский—мелочных торговцев. Уроженцы Тулы занимались коновальным ремеслом и служили в кучерах и дворниках, ростовцы—огородничали, владимирцы—плотничали. Олонецкая губерния поставляла искусных каменотесов, Тверская—хороших сапожников и башмачников. „Мастера книгопечатания“ были, по большей части, зыряне, уроженцы Вологодской губернии. Все наиболее „прибыточные дела“ были, обычно, в руках опытных и ловких москвичей.

Летом в столицу стекались десятки тысяч людей. Создававшаяся вследствие этого конкуренция совершенно обесценивала рабочие руки. Даже официальный историк Петербурга 1830-х годов Пушкарев, говоря о крестьянах, вынужден был признать, что „изнуренные дальним путем, они являются сюда нередко в болезненном виде и, что всего хуже, не вдруг могут иногда находить себе работу, отчего крайне нуждаются в пропитании“.

Немецкий же врач А. Буддеус, описавший Петербург того времени в изданной им в Штуттгарте специальной работе, сообщает, что весной и осенью, среди прибывавших на заработки крестьян, начинались, на почве недоедания, нищеты и сурового климата, массовые заболевания нервной лихорадкой и тифом. Еще тяжелее приходилось людям, работавшим на открытом воздухе или в предприятиях, вредных для здоровья. Занимавшиеся же вывозкой мусора и нечистот обычно болели



скорбутом[6]. Неудивительно, что крестьяне, побывавшие в Петербурге на „заработках", возвращались на родину больными и немощными. „Питер бока повытер",—говорили о столице.

Крестьяне, которым посчастливилось, наконец, после долгих мытарств, получить работу в столице, попадали в рабскую зависимость от своего нанимателя. Последний всячески эксплоатировал подневольных холопов, нередко вовсе не уплачивая заработанных ими денег. Тщетно стучались они в двери управы благочиния, суда, к генерал-губернатору. На их самые справедливые жалобы никто не обращал внимания.

Известен, однако, случай, когда, доведенные до отчаяния крепостные решились на необычайно дерзкий поступок— жалобу „скопом" министру внутренних дел. Об этом рассказывал в декабре 1820 г., в одном из своих писем, А. Закревский, муж воспетой Пушкиным красавицы Аграфены Закревской: „12-го числа гр. Кочубей, по возвращении из дворца, был дома встречен у крыльца толпою крестьян, коих было человек до ста. Это рабочие, которые пришли к нему с жалобою, что не получают следующей им по контракту платы за их работу; кажется по работам путей сообщения. Такого примера никогда не случалось в Петербурге, а в тепершнем положении дел сие может произвести сильное впечатление"[7].

Закревский ошибался. Подобного рода челобитные имели место еще во времена Екатерины II. Так богатый подрядчик, первостатейный купец Долгов, руководивший работами по облицовке гранитом набережных Фонтанки стал причинять „ужасные притеснения и обиды мужикам, при строении находившимся". 7 августа 1787 г. выборные от 4000 рабочих, в составе 400 человек, явились к Зимнему дворцу с челобитной. „В каждой, подходившей к окну, даме они узнавали императрицу, низко кланялись и показывали свою челобитную. Они говорили, что они не собрались бы толпою, если бы двух челобитчиков, отправленных в Царское Село, не взяли бы под стражу, а с дежурным генерал-адъютантом гр. Ангальтом, они, как незнающим по-русски, и говорить не захотели. Пополудни удалось захватить 17 человек, которые были тотчас отправлены под караул, в уголовный суд, с тем чтоб осуждены были в учинении скопа и заговора".[8]

О необычайно тяжелых условиях работ по сооружению набережных Фонтанки рассказывает и Клостерман, доверенный известного писателя Фонвизина. Нанятые для этого окрест-

ные крестьяне изнемогали от непосильного труда, „ибо с горя и нищеты они походили скорее на мертвецов, нежели на людей. Начались жалобы и всякого рода дрязги со стороны подрядчиков, которые отказывались выплачивать им деньги полностью... Эти бедные люди, без пищи и крова, со смертною бледностью на лицах, едва прикрытые какими-то лохмотьями, шатались, как привидения по улицам... Надо было иметь каменное сердце, чтобы не чувствовать к ним сострадания".

Такова подлинная история постройки славящихся своей красотой гранитных набережных Петербурга.

Есть два рода людей в России — дворяне и крестьяне или рабы. Дворяне, имеющие все и крестьяне, не имеющие ничего; дворяне, всегда правые, и крестьяне, всегда виноватые; крестьяне работающие и дворяне все пожирающие.

R. Faure. Souvenirs du Nord. Paris. 1821.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

За право проживания в столице „по паспорту“ крепостной обязан был выплачивать своему владельцу оброк, выделяемый им из его скудного заработка. Этот крестьянский оброк для помещика, проживавшего в городе и не занимавшегося сельским хозяйством, являлся простейшим средством добывания наличных денег. К тому же, норм, ограничивающих размер оброка, как это издавна введено было на Западе, в России не было. За период 1812-1840 г.г., часть помещиков добилась увеличения получаемого ими оброка в $2^1/_2$—3 раза. По словам М. Н. Покровского, „помещик всегда требовал себе максимум того, что может вынести крестьянское хозяйство, а иногда и больше максимума“. [9]

У знатных петербургских вельмож оброк редко превышал 10 руб. в год. Оброчные Юсупова, ярославцы, платили 7-8 руб. сер. в год. Столько же, примерно, платили приходившие в Петербург, на заработки, казенные крестьяне. Положение их, фактически, немногим отличалось от положения крепостных. Они жили в тех же условиях бесправия и произвола. Лишь помещика для них, по выражению Сперанского, заменяли земские исправники, „с тою токмо разностью, что они переменяются, и что на них есть некоторые способы к управе“. [10] Чрезвычайно интересна характеристика положения казенных крестьян, данная шефом жандармов А. Бенкендорфом. В своем отчете Николаю I за 1835 год III Отделение отмечало, что „казенные крестьяне, сия значительная часть нашего народонаселения, почти повсеместно находятся в самом худом положении. Не имея должного надзора или, лучше сказать, не имея никакого за собою надзора и будучи жертвою своих Голов и алчной земской полиции, они год от года беднеют и развращаются“. От казенного крестьянина, уходившего

на заработки, требовалось только, по словам Н. И. Тургенева,—быть в полном расчете с „миром“.

Некоторые данные о петербургских „оброчных“ тридцатых годов прошлого века дает недавно опубликованная работа В. Кашина „Экономический быт и социальное расслоение крепостной деревни в XIX веке“, основанная на изучении юсуповских вотчинных архивов. С наступлением зимы, юсуповские крепостные тысячами приходили на заработки в столицу. Как писали из костромской вотчины Юсуповых, „в домах находятся только не могущие идти в Петербург престарелые и малолетние“.—„У нас при мирском собрании говорить некому,—докладывал один староста,—все бабы, а мужья на чужой стороне“.

Юсуповские крестьяне работали в Петербурге, по преимуществу, „по мастерству сальных свечей“, возвращаясь в деревню с наступлением лета. Из другой вотчины, села Кузнецова, наоборот, приходили на заработки в Петербург к лету, с тем, чтобы вернуться домой осенью, с окончанием судоходных работ. Кузнецовские крестьяне уплачивали свой оброк в Петербурге, в юсуповской конторе, а не по месту приписки. В 1836 г. их городской староста уплатил от их имени 21.524 руб. асс. и лишь 1329 руб. асс. были присланы, в счет оброка, из села. Помимо свечного мастерства и судоходных работ, юсуповские крестьяне занимались в Петербурге продажею „от хозяев“ огородных товаров, полотерной работой, ломовым извозом, службой в трактирах, „портным ремеслом“. Один из княжеских оброчных „обрабатывал петербургский его сиятельства дом портновской работой“, получая 3.400 руб. асс. в год. Часть юсуповских крестьян, объединившись в артели по 80-100 человек, уходила под Петербург на лесные разработки. Другие же безвыездно жили в Петербурге, „забывши совершенно хозяйство и хлебопашество до того, что не только скотины, но земледельческих снарядов другие не имеют“.[11]

Однако, даже двадцатилетняя давность проживания в городе не освобождала крепостного от ярма рабства. Не таково было положение на Западе, где издавна сложилась известная поговорка „городской воздух делает свободным“ (Stadtluft macht frei). Там, по прошествии весьма короткого срока, владелец терял право собственности на своего крепостного, ушедшего в город.[12] Таким образом город, сыгравший в Западной Европе значительную роль в деле освобождения крепостных, в России был лишен этого значения.

И крепостной, безвыездно проживающий в Петербурге десятки лет, должен был неизменно отсылать свой оброк на родину или относить деньги в столичную контору своего барина; иначе ему не выдавался паспорт, отсутствие которого или даже просрочка грозили крестьянину арестом и высылкою, как беспаспортного, со всей семьей, по этапу, на родину.

Особенно требовательны были мелкопоместные дворяне. Самая незначительная просрочка платежа уже грозила их крепостным рядом бедствий. К тому же у мелкопоместных дворян размер оброка всегда был выше, чем у крупных владельцев, так как „обремененный долгами рабовладелец или феодальный сеньор высасывает больше, потому что из него самого больше высасывают".

Первая половина XIX века отмечена, как известно, быстрым разложением крепостного хозяйства под влиянием развития промышленно-капиталистических отношений. Крупновладельческое дворянство, интересами которого определялась политика правительства второй четверти XIX века, располагая оборотными средствами, легче приспособилось к новым условиям; оно стало вкладывать свои капиталы в предприятия, прибегая, в случае необходимости, к наемному труду. Среднее же и мелкопоместное дворянство, за отсутствием свободных капиталов, было обречено на неизбежное разорение. Обязательства, возлагаемые им на своих крепостных, были исключительно тяжелы. Однако, такое положение не тревожило помещиков. „Крестьяне лучше всего, когда плачут, хуже всего, когда радуются" (rustica gens optima flens, pessima gaudens)— гласила старинная поговорка.

Жена английского дипломата лэди Блумфильд, жившая в Петербурге в начале 40-х годов, рассказывает, что слуги посольского дома платили своим господам до 200 руб. оброка. Как передает Ф. Булгарин, размер оброка петербургского извозчика обычно достигал 100 руб., „не считая паспортных денег и податей"; всего же он выплачивал до 150 руб. в год. По сообщению Вольтманна, один из его петербургских друзей платил ежемесячно своему слуге 35 руб., из которых последний должен был относить своему владельцу 25 руб., что составляло 300 руб. годового оброка, равнявшихся 70% его заработка. Т. Вельп также рассказывает о петербургском извозчике, платившем своему барину оброк в размере 70% своего заработка. Такие условия были, очевидно, обычными для столицы.

Весьма крупный оброк платили своим господам крепостные, торговавшие в Петербурге по свидетельствам. Как сообщает К. Кавелин, некий дворянин получал со своих крепостных по 450 руб. сер. Один петербургский маляр, плативший со своим братом 400 руб. асс. оброка, горько сетовал на свою судьбу.—„За то семья твоя не замерзнет,—заметили ему,—когда у тебя сгорит изба, барин построит новую“.—„Это так,—отвечал маляр,—да я плачу барину по 200 руб. вот уже десять лет, а это—2000 руб.; останься эти деньги у меня в кармане, я бы четыре избы на них построил“. Кавелин рассказывает также об одном крепостном, служившем лакеем в 1842 г. в одной известной кондитерской на Невском. Ее хозяин, очень довольный своим слугой, был вынужден его уволить. Причиной этого был чрезмерный оброк, выплачиваемый крепостным, лишавший его возможности даже обзавестись приличной одеждой. [13] Проживающие в Петербурге мелкопоместные дворяне иногда сами старались подыскать своим „подданным“ прибыльную работу, чтобы иметь возможность требовать с них удвоенный оброк. Известный драматург А. А. Шаховской, все состояние которого заключалось в 20 крепостных крестьянах, устраивал их на службу в петербургскую театральную дирекцию в качестве машинистов сцены, требуя с них за то усиленный оброк. [14]

Большой оброк платили также и пригородные крестьяне. Они занимались огородничеством, извозным ремеслом, рыбной ловлей; их господа, в отношении оброка, были беспощадны. Об их „корыстолюбии“ упоминает одна из рукописей Пушкина. Это обстоятельство отметил в свое время и Кавелин. „Особенно нагло увеличена цифра крестьянских повинностей вокруг столиц и преимущественно около Петербурга, где, вместе с оброком, весьма значительным, обыкновенно отбываются крестьянами и разные работы“.—Как сообщает Вольтманн, некоторые из окрестных огородников платили до 200 руб. оброка, обязуясь к тому же выполнять попутно различные барские повинности. Когда одного из этих крепостных спросили, почему у него такой плохой печной горшок и ложка, он ответил: „Если бы мой хозяин увидел, что я пользуюсь лучшими, он тотчас увеличил бы мой оброк“. [15]

Поэтому крестьяне, съумевшие тяжким трудом сколотить несколько рублей, тотчас зарывали их в землю. И не редко случалось, что сын, по смерти отца, не мог их розыскать. [16]—„Вот почему,—отмечает современник,—хотя ежегодно и прибавляется 2 миллиона медью, это, однако, не замечается“.



Совершенно особый разряд дворовых в Петербурге составляли „отданные в науку“. Это были, большей частью, крепостные богатых помещиков, присылавшиеся в столицу для обучения различным мастерствам.

В зависимости от их сложности, ученики оставались в Петербурге более или менее продолжительное время. Как сообщает Б. Греков, в архиве декабриста М. Лунина сохранились по этому поводу следующие сведения. — Отданные в обучение к бронзовщику (великобританскому подданному Банистеру), оставались у него в течение 6 лет, к клавикордному мастеру—5 лет; обучавшиеся кулинарному и башмачному делу изучали его 4 года, фельдшерское—3 года. Кончившие образование возвращались к своему владельцу для работы по своей новой специальности или отпускались „на заработки“, с обязательством платить усиленный оброк. Подобного рода дворовые, прибыв в Петербург, составляли особую колонию, имевшую своего управляющего, также из крепостных, обязанного наблюдать за „нравственностью и добропорядочным поведением“ оброчных и своевременно взыскивать оброк. Однако, как видно из архива Лунина, едва ли не треть из них требуемого оброка не уплачивала. Размер же его достигал, сравнительно, крупной суммы—60 рублей. Его должны были уплачивать без разбора и кучера и торговцы, сапожники и клавикордные мастера. [17]

Как сообщает Д. Шелехов, „одному помещику, систематически обучавшему своих крепостных ремеслам, вздумалось выстроить в Питере дом на свой трудовой (!) рубль, добытый рассчетливым хозяйством. Он покупал только первые материалы, кирпич, известку, дерево, железо, медь. Его тягловые мужички дружно, быстро, искусно склали четырехэтажный дом, покрыли, настлали полы, сделали рамы, двери, замки, задвижки, оштукатурили, расписали и наполнили домашними уборами. Они обогатились щедрою платою своего великодушного господина, и помещик не в убытке: этот дом приносит теперь доходу от 30 до 40.000 рублей“. [18]

Проживавшие в Петербурге оброчные крепостные столичных знатных бар несли иногда, помимо оброка, особые повинности. Так, например,в торжественных случаях они обязаны были являться на зов барского управителя, для пополнения дворни. Когда в конце XVIII века в деревянном Петербурге участились пожары, один из петербургских магнатов, П. Б. Шереметев издал указ,—„что бы во время случающихся пожаров торгующие в Петербурге“ шереметевские кре-

стьяне „в Фонтанный и Миллионный домы, где предвидится нужнее, приходили, так как оное и всегда бывало, что и в Москве учреждено“.[18] В 1838 г. при рождении у Д. Н. Шереметева первенца-сына, его крестьяне, „на радостях“, преподнесли гр. Шереметевой богатое бирюзовое ожерелье.[19]

Однако, такого рода подношения не всегда являлись „добровольными“. Так известной П. Я. Мятлевой ее крестьяне поднесли в 1819 г. жемчужное колье, некогда принадлежавшее кардиналу Рогану и приобретенное Павлом I для его фаворитки Гагариной. Как оказалось, муж Мятлевой, узнав, что жене приглянулось это колье, съумел найти способы „убедить“ ее крепостных в необходимости купить это ожерелье за 55.000 рублей.

На Васильевском острову, по Большому проспекту под № 76 доме, продаются: мужской портной, зеленой забавной попугай и пара пистолетов.

„С.-Петербургские Ведомости“. 1800 г., № 1.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Крепостной человек являлся в описываемое время предметом купли-продажи. Газеты рубежа XVIII—XIX веков пестрят объявлениями о „продажных людях“. Никого не смущало объявление о продаже „мальчика, умеющего чесать волосы и дойной коровы“. Тут же рядом публиковалось о продаже „малого 17 лет и мебелей“. В другом номере газеты сообщалось, что „у Пантелеймона, против мясных рядов“, продаются „лет 30 девка и молодая гнедая лошадь“. В 1800 г. объявлялось о продаже женщины с годовым мальчиком и шор на 6 лошадей. „Московской части в улице Больших Пеньков (так называлась в старину Разъезжая ул.), в доме № 174,—публиковали в 1802 г.,—продается муж с женою от 40 до 45 лет, доброго поведения, и молодая бурая лошадь“. [21]

На аукционах, при продаже с молотка старого хлама, сбруи, колченогих столов и стульев, фигурировали и „доброго поведения семьи, нраву тихого, спокойного“. И только грозные раскаты французской революции принудили просвещенного друга энциклопедистов, Екатерину II, воспретить употребление на аукционах молотка при продаже крестьян, без земли, за долги владельцев.

Следующая „реформа“ последовала уже при Александре I, когда „СПБ. Ведомости“ прекратили печатание объявлений о продаже людей без земли.

Но по существу ничто не изменилось. Как сообщает в своих записках декабрист Якушкин: „прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение, что означало, что тот и другая продавались“.—„Продается охота из 16 гончих и 12 борзых,—читаем мы в одном из объ-

явлений „СПБ. Ведомостей“,—а если кому угодно, то при сей охоте отпускаются ловчий и доезжачий“.

Помещая в газетах объявления о „продажных людях“, владельцы их обычно откровенно выхваляли свой „товар“. Эпитеты—„пригожий“, „собою видный“, встречаются постоянно. О „девках“ писали—„изрядная собой“, „с лица весьма приятна“, „собой дородная“. Восхвалялись также качества и способности продаваемых слуг. „Отдаются в услужение: чеботарь 25 лет, по стройности и росту годен в ливрейные гусары и жена 18 лет, неуступающая хорошему кухмистеру в приготовлении кушанья“. [22]

Что касается цен на крепостных людей, то они значительно поднялись с середины XVIII века. В 1747 г. Лерх купил за 60 руб. двух людей и двух лошадей и нашел эту цену высокой. Теперь крепкий, здоровый парень стоит 300-400 руб. и больше, отмечал В. Фрибе, а девушка—100, 150 и 200 рублей. [23] Эти же цены отмечает и Шторх для конца XVIII века. [24] „В рассуждении дарований“ крепостного, цена на него иногда доходит до 1000 руб.,—сообщает Массон. [25]

П. Н. Столпянский, посвятивший особое исследование „Торговле людьми в старом Петербурге“, на основании публикаций в „СПБ. Ведомостях“ за последние годы XVIII века, приходит к выводам, что цены на „рабочих девок“ стояли тогда от 150-170 руб. и до 250 руб., каковые просили за „горничных, искусных в рукоделии“. За мужа-портного и жену-кружевницу просили 500 руб., за кучера и жену-кухарку—1000 руб., за повара с женой и сыном двух лет—800 рублей. Мальчики обыкновенно стоили от 150 до 200 рублей. „За изрядно пишущих“ просили 300 рублей. [26]

Француз Дюкре, оставивший под именем Пассенана, ряд сведений о России, сообщает, что в 1808 г. цена крепостного человека достигала в среднем 400-600 франков, при ежегодном доходе от его работы в 50 франков. В ту же эпоху негр в колониях стоил 2—3000 франков, но приносил 200—300 франков дохода. [27] Около 1812 г. цена крепостного не превышала 200 руб., а в 1829 г. французский литератор Ж.-Б. Мей снова сообщает, что в Петербурге можно купить одинокого человека за 400 франков. Однако, в последующие годы цены на „продажных людей“ пали до 100 рублей, на каковом уровне они держались до 40-х годов. [28] Конечно, столь низкая цена назначалась лишь за скромных „необученных“ крестьян. Люди же грамотные, знавшие хорошо какое-либо

ремесло, в особенности крепостные актеры и живописцы, расценивались значительно дороже.

Кроме продажи крепостных „с рук“ и по газетным объявлениям, предприимчивые люди устраивали в центре столицы „невольничьи рынки“, на подобие восточных, где, на „особливых двориках“, выставлялись на продажу крепостные. Какой-то „секретарь“ Громов содержал в конце XVIII века такой „дворик“ против Владимирской церкви; другой подобный же находился в доме Вахтина у Поцелуева моста. Такие же рынки для продажи людей имелись на Лиговском канале, у Кокушкина моста и в Малой Коломне, где этим промышлял некий дьячек и т. д.[29]

При Петре I в Петербурге продавались также и пленные. Как сообщает датский посланник Ю. Юль, после взятия Выборга „русские офицеры и солдаты уводили в плен женщин и детей, попадавшихся им на городских улицах. Дорогою,— рассказывает Ю. Юль,— встретил я, между прочим, одного русского майора, который имел при себе девять взятых таким образом женщин. Царь тоже получил свою часть в подарок от других лиц. Иные оставляли пленных при себе, другие отсылали их в свои дома и имения в глубь России, третьи продавали. В Петербурге женщины и дети повсюду продавались за дешево, преимущественно казаками“.

Торговля людьми в Петербурге в некоторых случаях приобретала исключительно злостный характер. Так один поляк, содержавшийся в екатерининское время в заключении в Петербурге, рассказывает следующее о нравах крепостного быта северной столицы: „Я не думаю, чтобы продажа негров на сенегальских перекрестках была бы более позорной, чем то, что происходило в Петербурге еще в конце XVIII века, под покровительством Академии Наук и на глазах Екатерины „Le Grand“, „Екатерины-философа“. Страницы „Ведомостей“ столицы были заполнены лишь продажей юношей и девушек. Каждый мог их купить. Простой русский поручик, не владевший и пядью земли и живший на одно свое жалованье, скопив немного денег из тех, которые мы передавали ему с моими несчастными сотоварищами за оказываемые нам, по соглашению, услуги, решил однажды заняться торговлей крепостными. Он покупал девушек 19-20 лет, заставлял их работать на себя, бил, когда они не имели достаточно работы и сдавал затем в наем своим товарищам или находившимся любителям. Эти сцены происходили на наших глазах, во

время двухлетнего нашего заключения, в доме, примыкавшем к нашей тюрьме".[30]

Как рассказывает также Массон, одна петербургская дама, некая Посникова, владелица населенного имения под Петербургом, выбирала у себя, среди крепостных, самых красивых девочек 10-12 лет, и обучала их, с помощью гувернанток,— музыке, танцам, шитью, причесыванью и т. д. В 15 лет она продавала наиболее ловких в горничные, самых же красивых в качестве любовниц, получая за них по 500 рублей.[31]

Когда, однако, при приезде в 1829 г. в Россию Хозрева-мирзы, прибывшего с извинениями от персидского шаха по поводу убийства в Тегеране русского посланника А. С. Грибоедова, восточный принц выразил желание приобрести для себя и своего отца двух дам, приглянувшихся ему на одном из аристократических балов, высший свет пришел в негодование от дерзости „дикаря". „Как, покупать живых людей? Россия ведь не Персия!"[32]

При продаже людей купчая писалась в то время следующим образом: „Продана мною, продавцом, девка Матрена Лукина, за 100 руб. асс. А та моя девка, опричь такого-то, никому не продана и не заложена и ни в каких крепостях ни у кого ни в чем не записана и не укреплена и в приданых ни за кем не отдана. А буде кто у него или у жены или у детей его в той девке станет вступаться по каким-нибудь крепостям или по чему-либо ни есть и мне, продавцу, и детям моим—его, такого-то, и детей его от всяких крепостей очищать и убытка ни до какого не доводить. А что ему и детям его, от кого ни есть, моим неочищением учинятся какие убытки—и ему и детям его взять на мне и на детях моих те свои 100 руб. и убытки сполна".

Помимо купли-продажи и наследования, основных способов перехода права собственности на крепостных, их также дарили. Так, С. Л. Пушкин, отец поэта, подарил своей крестнице, малолетней дочери своего управляющего Пеньковского, крепостную Пелагею Семенову, как „верноподданную".

Крепостные ставились иногда и на карту. Пушкин писал Великопольскому, вспоминая карточную игру своего знакомца:

Проигрывал ты кучи ассигнаций
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров...

Декабрист Якушкин рассказывает в своих записках, как „однажды к помещику Жигалову приехал Лимохин и про-



играл ему в карты свою коляску, четверню лошадей и бывших с ним кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную-девку и Лимохин отыгрался“.

Одному французскому врачу называли некоего помещика, большого любителя мен, обменявшего как-то своего лакея на датского дога [33]. Декабрист М. Лунин в одном из своих писем из Сибири сообщает следующую биографию нанятого им в ссылке слуги „Василича“.—„Его отдали в приданое, потом заложили в ломбард и в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран в бильбокет, променен на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин, в минуту худого расположения, без суда и справок сослал его в Сибирь“. [34]

На ряду с этим нередко бывали, конечно, и случаи отпуска господами своих слуг на волю. У известного „либералиста“ николаевского времени, адмирала Мордвинова, дворовый, прослуживший в его петербургском доме в качестве слуги десять лет, получал, по словам Н. Н. Мордвиновой, вольную. Не следует, однако, думать, что общее положение мордвиновских крепостных было очень завидное. Как рассказывает Михайловский-Данилевский, при проезде Александра I в 1818 г. через принадлежавшую адмиралу Мордвинову в Крыму Байдарскую долину, царскую коляску окружила толпа местных крестьян в 2000 человек, со слезами жаловавшихся на притеснения своего помещика. „Славны бубны за горами!“—сказал тогда Александр о Мордвинове, пользовавшемся репутацией гуманнейшего и просвещенного человека своего времени. [35]

Как отметил в своем ценном дневнике Э. Дюмон, его племянник, известный петербургский ювелир Дюваль, отпустил на волю своих двух крепостных, отданных им мастеру Любье для обучения ювелирному делу. При этом Дювалю пришлось еще уплатить 5% налог с нарицательной стоимости каждой „души“ в 500 рублей. [36]

Чаще всего отпускные давались в случае смерти владельца, когда, по завещанию, наследники обязывались отпустить на волю определенное число слуг. Но число этих отпущенных бывало совершенно ничтожно, так как завещательные распоряжения касались обычно лишь нескольких „доверенных“ слуг—дворецких, камердинеров или управителей. Это были, большей частью, старики и отпускные грозили им подчас голодной смертью. Да и куда было уйти им, когда дети их, обычно, на волю при этом не отпускались. Как незначительны

были „отпуски“ крепостных по духовным завещаниям показывает „духовная“ Н. П. Шереметева, скончавшегося в 1809 году. Согласно его завещанию было освобождено всего лишь 22 человека, в том числе четыре художника. Между тем, Шереметеву принадлежало в то время 123.000 крестьян. [37]

Чтобы как-нибудь избавить своих детей от рабства, крепостные, жившие в Петербурге или в Москве, нередко относили их в Воспитательные дома. Таким образом, дети навсегда лишались родителей, но зато выходили оттуда свободными людьми. Наиболее способных из них Воспитательные дома отдавали даже для завершения образования в столичные гимназии. Это обстоятельство привлекло, наконец, внимание начальства.—И 20 декабря 1837 г. был воспрещен прием питомцев Воспитательных домов не только в гимназии и спб. коммерческое училище, но даже в уездные училища; хотя сюда и попадали только наиболее способные воспитанники, но „умножающийся из года в год принос детей“ в Петербургский и Московский Воспитательные дома обнаружил, „что многие родители отчуждают законнорожденных детей своих от родительского попечения и семейного быта, не по причине нищеты... а для того, чтобы этим подлогом (!) вывести детей своих из сословия, к которому принадлежат... или доставить выгоды по гражданской службе выше своего состояния“. [38]

Раб, довольный своим положением, вдвойне раб, потому что не одно его тело в рабстве, но и душа его.

Бурке.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Единственным законным способом освобождения крепостного от власти помещика являлся выкуп. Как отметило в 1827 г. III Отделение, крепостные, живя, „с согласия своих господ в городах, невольно учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные сословия. Надо заметить, что всякий крепостной, которому удалось своим трудом сколотить несколько тысяч рублей, употребляет их прежде всего на то, чтобы купить себе свободу“.[39] Что касается размера выкупа, то он обычно определялся суммой, которая приносила ежегодно проценты, равные оброку, уплачиваемому выкупающимся. Так, рязанский предводитель дворянства Маслов, пожелавший за выкуп своего крепостного, поэта Сибирякова, 10.000 руб., основывал свое требование на том, что это была сумма, проценты с которой равнялись плате за наем человека на освобождаемое Сибиряковым место кондитера.[40]

Однако и таким выкупом владелец не всегда довольствовался. Поэтому получить вольную обычно имели возможность лишь люди, разбогатевшие на каких-либо отхожих промыслах. Между тем, владельцы зорко следили за состоянием своих оброчных и тотчас же увеличивали оброк, если дела их „шли в гору“. Недаром старая поговорка гласила: „крестьянину не давай обрости, но стриги его, яко овцу, до гола“.

А. Пеликан рассказывает об одном своем родственнике, подбиравшем среди своих крестьян наиболее способных и предприимчивых людей. Он ссужал их деньгами и отправлял торговать в Петербург. Когда, по истечении известного времени, им удавалось составить себе капитал, помещик возвращал их обратно в деревню. Тут он ставил их на „черную работу“, подвергая таким истязаниям на конюшне, что „толстосумы“ спешили сами отдать ему все ими нажитое, лишь бы выкупиться

на волю. Таким способом этот помещик составил себе, по сведениям Пеликана, многомиллионное состояние.[41]

При подаче крепостным челобитной о выдаче ему вольной, владелец, боясь продешевить, прежде всего наводил подробные справки о его благосостоянии. „У меня был богатый крестьянин,—рассказывал некий помещик,—он захотел откупиться. Мы поторговались и сошлись на 16.000 руб., но мужик, каналья, перехитрил меня; он оказался после в 200 тысячах. Я мог бы взять с него тысяч пятьдесят. Вот сестра моя была умнее. Она не иначе отпустила одного из своих крестьян, как взяв с него 30.000 руб. и взяла славно, потому что капитала оказалось только 45.000 рублей“.

Кюстин передает другой случай, когда некий граф обещал одному из своих крепостных вольную за непомерную сумму в 60.000 руб., каковую владелец принял, но своего крепостного на волю не отпустил. Французский литератор Ж.-Б. Мей рассказывает об одной семье крепостных в Петербурге, владевшей несколькими миллионами и тщетно предлагавшей своим господам 500.000 руб. за освобождение. „Но их господа не принимали этих денег,—замечает Мей,—так как знали, что, при необходимости, они смогут отнять у них все“.[42]—Р. Фор, в свою очередь, сообщает про одного очень богатого петербургского купца, крепостного, принесшего своему барину миллион рублей, с просьбой выдать ему отпускную.— „Оставь себе твои деньги,—сказал ему барин.—Для меня больше славы владеть таким человеком, как ты, чем лишним миллионом“.—Это был Шереметев.[43]

Об отказе Шереметевых отпускать, даже за большие деньги, своих крепостных, один французский врач сообщает следующее: „Называют одну аристократическую семью, которой принадлежит половина владельцев фруктовых лавок в Петербурге. Ей нравится повелевать этой толпой мелких лавочников и ее гордость не позволит никогда, за исключением разве полного разорения, продать этим несчастным их свободу“[44].— „Множество крепостных торговцев (с громадными состояниями), принадлежащих Шереметевым, являются миллионерами,—пишет по этому же поводу Ле-Дюк.—Граф Шереметев кичится обладанием подобными рабами; он нисколько не увеличивает платимого ими ежегодного оброка. Но если некоторым из них приходит мысль выкупить свою свободу, граф неуклонно отвергает их просьбы, хотя бы они сложили к его ногам половину состояния. Исключительно редки случаи, когда он

уклоняется в этом отношении от своих строгих правил, составляющих часть особого фамильного кодекса".[45]

Нежелание владельцев отпускать на волю своих крепостных, даже за большой выкуп, часто объяснялось боязнью потерять постоянно растущую статью дохода. Некоторые же из знатных дворян считали унижением своего достоинства выдачу за деньги отпускных, так как богатство крепостных приятно льстило их самолюбию. Шереметев с большой гордостью повез однажды французского поверенного в делах при русском дворе гр. Рехтерна к одному из своих „подданных". К изумлению француза, поданный им роскошный обед был сервирован на серебряной посуде и саксонском фарфоре.[46]

Неудивительно, что с подобного рода крепостными Шереметевы не хотели расставаться. „Чем вам худо у нас?"— неизменно говорили они являвшимся к ним за вольными торговцам и фабрикантам, а также музыкантам и живописцам.— Только женщины могли рассчитывать на получение отпускной, так как при выходе их замуж за каких-либо чиновников, офицеров или священников, Шереметевы не отказывали им в выдаче вольных, без всякого выкупа.[47]

С каким трудом приходилось добиваться от Шереметевых свободы показывает случай с их крепостным Александром Никитенко, впоследствии известным академиком. Образованный и энергичный, он съумел заинтересовать своей судьбой некоторых товарищей Шереметева по кавалергардскому полку, а также министра народного просвещения Голицына и ряд других влиятельных лиц. Шереметев, не отказывая ходатайствам, тем не менее, от выдачи Никитенко вольной уклонялся. Тогда Никитенко обратился с просьбой о заступничестве к дяде Шереметева, пользовавшемуся влиянием на племянника. Однако, тот категорически отказался поддержать его. „Что касается свободы,—заявил он,—я решительно против нее. Люди, подобные вам, редки и надо ими дорожить". Тогда на помощь Никитенко пришла гр. Чернышева. Воспользовавшись визитом к ней Шереметева, она, в присутствии множества гостей, стала горячо благодарить его за, якобы, уже выданную Никитенко отпускную". — „Мне известно, граф,—сказала она,—что вы недавно сделали доброе дело, перед которым бледнеют все другие добрые дела ваши. У вас оказался человек с выдающимися дарованиями, который много обещает впереди и вы дали ему свободу. Считаю величайшим для себя удовольствием благодарить вас за это: подарить полезного члена обществу—значит многих осчастливить". Сму-

щенному Шереметеву ничего не оставалось, как поблагодарить Чернышеву за „добрые слова"... Однако, подписание отпускной все откладывалось. И потребовалось вмешательство еще целого ряда лиц, а также исключительная энергия самого Никитенко, чтобы Шереметев согласился, наконец, на освобождение одного из своих 123.000 крепостных.

Бывали, однако, случаи, когда Шереметевы проявляли необычное великодушие. Так немецкий актер Иерманн рассказывает о том, как один из богатейших крепостных Шереметева, владелец крупного фруктового магазина в Милютиных рядах, на Невском проспекте, принес однажды своему барину 80.000 руб., ходатайствуя о вольной для сына. Юноша полюбил свободную девушку, категорически отказавшуюся от брака с крепостным. Шереметев, к удивлению окружающих, дал свое согласие и принял деньги, выразив даже желание быть посаженым отцом „молодых". Когда, после венца, новобрачная поднесла графу на серебряном блюде бокал шампанского, Шереметев, поздравив ее, преподнес ей букет цветов, искусно обвитый полученными им ассигнациями за вольную жениха.[48]

О подобном же случае неожиданного великодушия Шереметева передает известный бар. Фиркс, писавший под именем Шедо-Ферроти.—К числу богатейших крепостных Шереметева принадлежал некто Шелушин, обладатель нескольких миллионов, тщетно предлагавший своему владельцу 200.000 руб. за освобождение. Свои торговые дела Шелушин вел в Риге, где его взрослые сыновья никак не могли найти себе невест, так как никто в Риге не хотел отдавать детей за крепостных.—Отправляясь однажды в Петербург, Шелушин захватил с собою полученный им в день отъезда боченок с устрицами, с которым и явился к Шереметеву, в его дом на Фонтанке. Он застал графа сидящим, с гостями, за завтраком. Смущенный метрдотель докладывал, что нигде в городе не смогли достать заказанных графом устриц.—„А, Шелушин!—крикнул Шереметев своему крепостному-миллионеру,—ты напрасно предлагал мне, за свое освобождение, двести тысяч рублей, так как я не знаю, что с ними делать. Но достань мне к завтраку устриц и ты получишь свободу". Шелушин низко поклонился и, поблагодарив графа за его милости, доложил, что устрицы уже находятся в прихожей.—Боченок вкатили в столовую и Шереметев, тут же на боченке, написал отпускную, сказав: „Ну теперь, господин Шелушин, я вас прошу сесть с нами за стол".[49]—Не всегда, конечно, Шереметевы поступали столь бескорыстно. Когда захотел выкупиться на свободу шереметевский крепо-



стной, шляпный фабрикант, считавшийся в 5 миллионах, то, нуждавшийся в то время в деньгах Шереметев выдал ему отпускную за 800.000 рублей.[50]

Несмотря на известные нам случаи крестьянских бунтов во владениях Шереметевых, положение их крестьян считалось исключительно привиллегированным. „Когда говорят, что между многочисленными дворянами государства найдется не один, под властью которого тяжелая судьба крепостных людей становилась бы сноснее, то этим единственно отдают справедливость этому доброму господину (Шереметеву),—писал в последних годах XVIII века ван-Вонцель.—Ни у одного дворянина нет крестьян столь богатых, как у него. Шереметев с многочисленных своих крестьян берет самую незначительную сумму денег". Известно также распоряжение Шереметева от 2 декабря 1799 г. об устройстве лазарета для прислуги.— „Дом же постараться нанять, ибо когда нужно спасти людей моих, тогда и ста тысяч не пожалею".[51] — Подобного же рода приказание давал своему главноуправляющему один из крупнейших землевладельцев того времени, известный меценат А. С. Строганов. „Помни,—писал он,—что ты сердцу моему ни спокойствия, ни сладкого удовольствия принести не можешь, когда хотя бы до миллионов распространил мои доходы, но отягчил бы через то судьбу моих крестьян".[52] В старину, заметил Н. И. Тургенев, родовитые аристократы, носившие исторические имена, весьма обходительно относились к крестьянам. „Я боюсь, что теперь это не так: дети в этом отношении не похожи на отцов. Прогресс этой, якобы, цивилизации остановился на одних внешних формах и ею несчастные крепостные не смогли воспользоваться... Старое дворянство, без сомнения, было менее европейским по своим привычкам и вкусам, чем их сыновья, но их образ жизни, более патриархальный, лучше согласовался с их положением владельцев рабов".[53]

В Петербурге, между знатными феодальными дворянами и их „подданными" из крупной крепостной буржуазии нередко устанавливались патриархальные отношения. Кроме Шереметевых,—Уваровы, Воронцовы и многие другие владели в Петербурге крепостными миллионерами, имевшими ювелирные магазины, шелковые фабрики, экспортные конторы[54]. Тем не менее, они платили своим господам лишь по 10 руб. ежегодного оброка.— Зато в особо торжественных случаях—бракосочетания господ, крещения детей или получения высоких царских наград, их крепостные подносили им иконы в богатых ризах. Господа, в свою очередь, охотно крестили у них детей и исполняли

обязанности посаженых отцов на их свадьбах. Иногда они оказывали им честь своим присутствием на их семейных обедах. Господская же кухня получала приказ закупать всю провизию, вина, фрукты исключительно в лавках „своих". Овощи и дрова поставляли „свои".

В свою очередь крупный фабрикант бывал частым посетителем передней своего барина. Допущенный в кабинет, он подносил своему господину какую-либо старинную „безделку", если барин был любитель старины, после чего следовала „просьбишка". Полиция ли амбары опечатает, обнаружив неклейменые товары, сын ли прибьет на торгах конкурента, — одна надежда на „высокографское милосердие". И богатый коммерсант, заручившись рекомендательным письмом, отправлялся в присутственное место и добивался там „именем графа" сокращения на половину пошлины, сберегая, иной раз, десятки тысяч рублей. За то и он в долгу не оставался. Являясь с пасхальным поздравлением, он подносил „графинюшке" фарфоровое яйцо с голубым бантом, на котором был вышит бриллиантами ее вензель. И польщенный барин хвалился перед гостями подношением своего „холопа".

Если же случалось, что господа находились в затруднении, их подданные тотчас же раскрывали им свои туго набитые кошельки, ссужая подчас крупными суммами, без расписок, а иногда без отдачи. Даже Шереметевы, на рубеже XVIII—XIX веков, когда пошатнулось было их состояние, неоднократно прибегали к займам у своих крепостных.[55] Один из них, воспользовавшись этим случаем, купил себе даже свободу за 100.000 руб., вложив вдвое большую сумму в коммерческие дела графа.[56]

Накопление значительных капиталов в руках крепостных на рубеже XVIII—XIX веков свидетельствует уже о зарождении крепостной буржуазии, приобретавшей иногда, на имя своих господ, целые имения в десятки тысяч десятин.[57]

С одной стороны—почти всесилие, с другой—немощь беззащитная, ибо помещик, в отношении крестьянина, есть законодатель, судия, исполнитель своего решения, и по желанию своему истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного в узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола в ярме.

А. Радищев.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Среди проживавших в Петербурге крепостных крестьян значительную часть представляли, весьма многочисленные в начале XIX века, „дворовые люди“.

Часть их жила в столице по выданным им паспортам и платила своим господам обычный оброк, являясь, по выражению Николая I, „ходячим доходом“, представляя „класс тунеядный, развратный и наиболее опасный“.[58] Остальная часть дворовых жила в столице при своих господах в качестве прислуги. Наибольшее число их насчитывалось, как сообщает К. Веселовский, в Литейной части, заселенной чиновниками, державшими при себе значительное число прислуги. Здесь, в среднем, на каждого дворянина и чиновника приходилось по два дворовых, в Петербургской же части по одному на двух чиновников.[59]

В знатных домах Петербурга штат прислуги бывал очень велик, доходя иногда до ста и даже двухсот человек. Штат Шереметевых составлял 300 человек, Строгановых — 600 и Разумовского—900. В богатых домах все управление прислугой возлагалось на метрдотелей. Иногда это бывали иностранцы, увозившие из России немалый капитал, прослужив иногда всего несколько лет. Так метрдотель Волконских, Паоли, вывез из России капитал в 45.000 рублей. Однако, большей частью, обязанности управителей возлагались на собственных дворецких. В домах больших бар—Нарышкиных, Шереметевых, Строгановых, Куракиных—это были люди „значительные“, хотя и крепостные, которым „молодые господа“ руку подавали. Но в „строгих“ домах даже дворецкий не смел повернуться к барину спиной или прислониться к стене.

Дворецкий, с малых лет находившийся в доме, знал до тонкости все распорядки, хранил ключи и отвечал за все в доме. „Ему надлежит быть человеколюбивым,—гласило старое наставление,—честным, миролюбивым, богобоязненным, равнодушным, свою честь наблюдающим, а не подлым, корыстолюбивым и пристрастным, сердитым и скучным человеком". Получая „барское платье", дворецкий был одет всегда опрятно и важно выступал, в торжественных случаях, впереди всей прислуги, держа в руках фуляровый платок (кроме того он имел полотняный платок для глаз). Безшумная походка и безукоризненная выдержка дворецкого были обязательны для всякого знатного дома.

Пользуясь всей полнотой власти, дворецкий имел право, не докладывая барину, „учить" провинившихся. „С лентяев и пьяниц,—получал он барский приказ,—не спускать глаза, а ежели не работают, кормить березовой кашей; давать ложек пятьдесят и даже, в крайности, сто, глядя по едоку". Если случалось, что дворецкий был не из „своих", а взятый со стороны какой-либо отставной вахмистр-преображенец, прислуге приходилось тяжело—засекал до смерти. По субботам, в день „обучения нравственности", на конюшнях стоял стон. Иногда экзекуции происходили в присутствии барина. „Народ разбойник, вор,—оправдывался он перед друзьями,—верьте, никакой филантропии не стоит. Да, ведь, русский человек, кроме того, даже любит, чтобы его изредка посекли". Так мыслили и просвещеннейшие люди своего времени. Даже Жуковский полагал, что „русский палку любит".[60] Считалось, что людей секут отнюдь „не для разрушения человечества, а единственно в поправление от распутства и лени".

В знатных домах поведение прислуги иногда регламентировалось особым „положением". Так, например, „надсмотритель дома" Б. Куракина, по особому „указу", должен был „всего же паче смотреть, чтоб все домовные, а паче лакеи, были во всякой учтивости к приходящим, не токмо вышних персон, но и нижних". На его обязанности было наблюдать, „чтоб между лакеями, также и другими доместики, никакого дезордину не было". Ему надлежало внушить швейцару—„всех с респектом принимать, не токмо приезжих в каретах, а и приходящих пешком. Всех персон шляхетства вводить в верхний апортамент. Всех купцов и других артизанов (ремесленников)—в нижнюю камору".

По своему значению в доме, после дворецкого, следовал камердинер, как человек „приближенный" к барину. На обя-

занности камердинера было „рачительно и верно сохранять врученный ему гардероб, драгоценные вещи и прочее. Часто посылают господа для отдания поклонов и для других надобностей, а к сему потребен человек искусный и знающий. В больших господских домах три камердинера бывает: первый портной, сей имеет на руках гардероб и белье, ведет сему роспись, одевает господ... Вторый бритовщик, господина бреет, когда прикажут. Кроме сего около домашних служителей отправляет лекарскую должность. Третий—парикмахер, чешет всякой день господину волосы и прислуживает“. Обязанности, возлагавшиеся на камердинера, требовали от него „видной наружности“ и неукоснительной чистоты. В некоторых домах камердинер должен был являться к своему господину босым, чтобы показать, что у него руки и ноги начисто вымыты, лишь после чего получал доступ к особе барина. Камердинерами знатных бар, также как и дворецкими, часто бывали иностранцы. В таковом случае они пользовались в доме особыми привиллегиями. Русская прислуга пыталась им подражать в одежде и манерах, присваивая себе даже иностранные имена. Среди лакеев были „Пьеры“, „Жаны“, Людвиги“. Камердинер пушкинского „полумилорда“ Воронцова, Иван Донцов, откликался лишь на имя Джиованни.

Не менее значительной фигурой в доме являлся главный швейцар, в больших домах носивший название „свиса“. Должность эта требовала „человека трезвого, постоянного, тихого, рослого, веселого, учтивого, знающего по-русски, по-немецки, по-французски, который пристойным образом всякому ответ дать может, также около себя и в горнице своей чистоту наблюдает“.

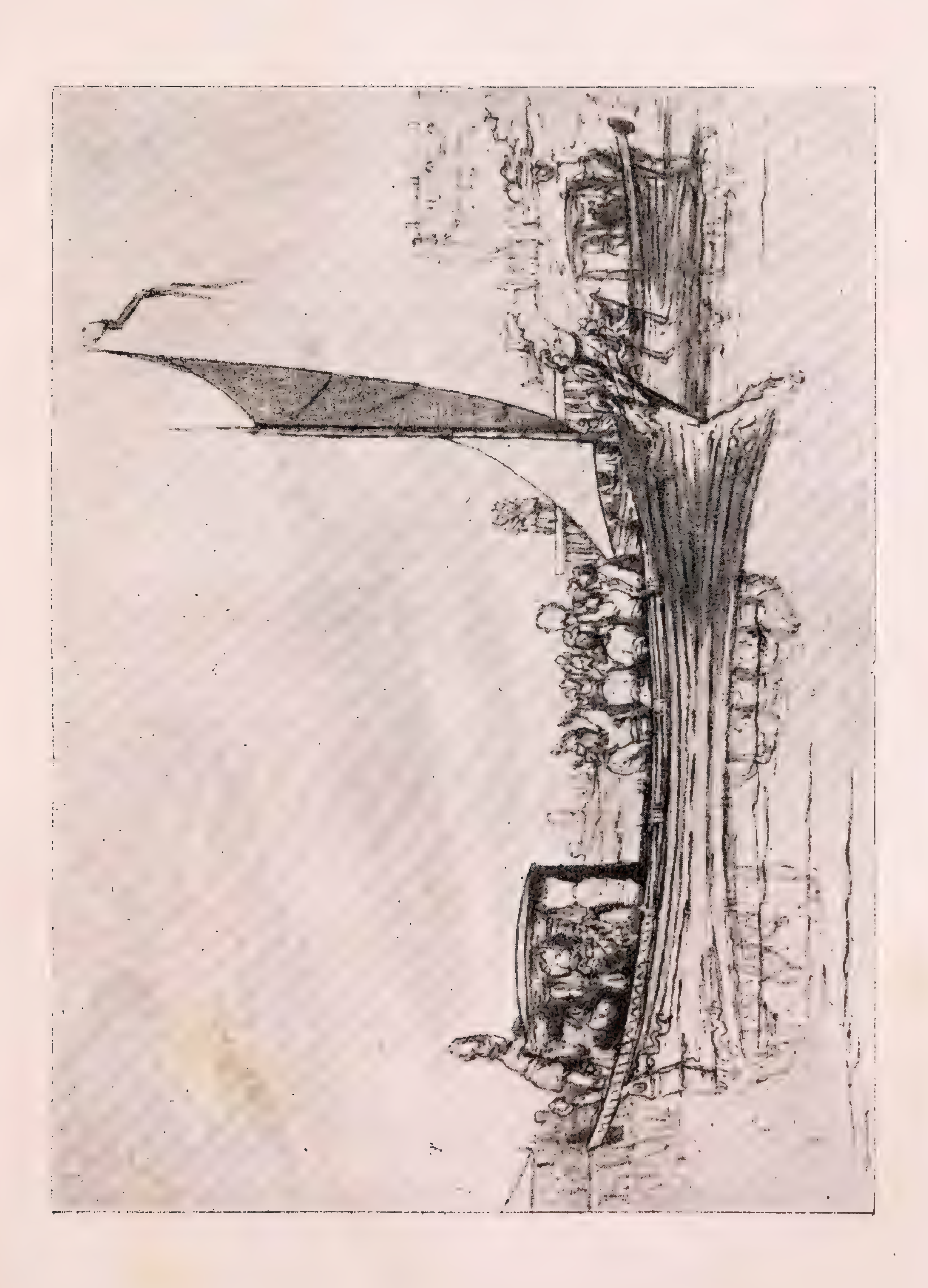
В свою очередь и мундшенк должен быть „в деле своем человек искусный и господам верный. Должен быть знаток различных напиток, иметь хороший вкус и чувствительное обоняние, быть трезвым и умеренным в своем житии, весел, проворен и услужлив, не должен никаких трудов счадить и то, к чему обязался, без огорчения исполнять“. К числу „ответственных“ людей относился, конечно, и повар. „Искусство свое“ он „наипаче оказывает в составлении сытных и смачных похлебок и подливок, студеных и горячих; в морении, душении и жарении разных мяс, также и в варении и жарении рыб, дворовых птиц и всякой дичины; в разных мороженых, готовимых на блюдах, также в приготовлении пастетов и сладких пирогов“.[61] Для успешного выполнения этих многосложных обязанностей, в помощь повару давалась особая „кухонная служба“ с множеством „работных баб“.

Очень велико было также в больших домах количество кучеров, конюхов и форейторов. Кучера делились на „выездных“, умевших править цугом шестеркой лошадей и на „ямских“, посылавшихся за город с поручениями. Кучерская служба считалась, хотя и не безвыгодной, благодаря „экономии“ на сене и овсе, но „беспокойной“. Кучер был в ответе и за захромавшую лошадь и за случайно поломанное колесо. Но тяжелее всего было ожидание долгими часами, а иногда и целую ночь, на улице, в непогоду и лютый мороз.

Помимо дорогой конюшни и множества экипажей для городской езды, большинство дворян позволяло себе и другую роскошь. Многие имели целую флотилию богато убранных лодок и шлюпок, которыми пользовались для езды по городу. По свидетельству современников, на реках и каналах было в те времена „не меньше лодок, чем экипажей на улицах“. В зависимости от места катанья — по Неве или по каналам, гребцы меняли длинные весла на короткие. Команда каждой лодки, обычно, состояла из 12 человек. Все они носили особую ливрею. Так гребцы Юсупова были одеты в шитые серебром вишневого цвета куртки. Их головы украшали шляпы с богатыми перьями. В своих живописных костюмах и белоснежном голландском белье они походили больше на балетных артистов, чем на гребцов. От них требовалось не только уменье искусно грести. Во время катанья своих бар они услаждали их пением и игрой на французских рогах.

Любопытно, что владельцы нередко разрешали своим крепостным „прирабатывать“, отпуская их на целый день с лодками. И скромный петербургский чиновник приобретал, таким образом, возможность доставить себе за несколько рублей удовольствие „царского выезда“. Помимо частных лиц, лодки содержали Адмиралтейство и все коллегии. Их гребцы были также пышно разодеты. [62]

Подобными же богатыми ливреями щеголяли в больших домах лакеи „собственных“ комнат. Кроме того, имелись еще „выездные“ лакеи, „швейцарские“, дежурившие в прихожей и „дневальные“, днем находившиеся для услуг в парадных аппартаментах, а ночью, по очереди, спавшие на пороге господской спальни. В штате значились также камеристки, „комнатные женщины“, „гардмебели“, „люди“ при серебре, при белье, при свечах, в буфетной, в винном погребе. Виночерпий на парадных обедах должен был уметь столь убедительно предложить малагу или бургонское, чтобы гость никак уж не мог отказаться.



К высшему служебному персоналу относился также „фершал“, заведывавший домашней аптекой и никогда поэтому не бывавший трезвым. Его главная обязанность заключалась обычно в „открывании“ крови. К высшему штату принадлежали и так называемые „назначенные в науку“; это были наиболее развитые и способные мальчики, которых обучали грамоте и „наукам“, с тем, чтобы из них комплектовать потом домашних лекарей, управителей вотчин и фабрик, художников, капельмейстеров доморощенных оркестров и т. д. По окончании домашней подготовки их отдавали в школы и училища, где они обучались своей будущей специальности, заканчивая иногда свое образование даже заграницей. Если возлагавшиеся на ученика надежды не оправдывались или, как это часто бывало, несчастный спивался, его причисляли к домашней канцелярии, где он коротал свой век, неся обязанности счетовода или писца. Таких „приканцелярских“ в больших домах насчитывался чуть ли не десяток человек.

Штат петербургской конторы Д. Н. Шереметева в 1813 г. состоял из 32 лиц. Во главе ее стоял „домоуправитель“, в помощь которому был дан управляющий экспедицией. В экспедиции работали два экспедитора, казначей, три столоначальника и два бухгалтера. „Младшая братия“ состояла из шести повытчиков, девяти копиистов, трех учеников и одного „геодезии помощника“. [63]

В знатнейших домах, кроме русской прислуги, держали сербов, албанцев, арабов и др. Все они были наряжены в богатые национальные костюмы. Как отметил в своих письмах из Петербурга В. Эстергази, там „не было дома, в котором было бы меньше ста слуг различного рода — негров, турок и в особенности карликов и карлиц, которые очень в моде... В каждой комнате, где сидят, обычай требует, чтобы у дверей стояли для услуг 5-6 пажей-карликов, турок или казаков, поэтому в домах отсутствуют звонки“. [64] Эти „арапы, по произволению господ, либо африканскую, либо американскую, смотря по цвету ливреи, одежду имеют“. Обычай держать в доме слуг различных национальностей уже существовал в начале XVIII века. В числе дворни известного Артемия Волынского были поляки, шведы, турки, персы, калмыки, бухарцы и индейцы.[65]

Француз де-Мион, описывая роскошный прием, устроенный в Петербурге в 1734 г. гофмаршалом Левенвольде французским пленным офицерам, рассказывает, что хозяин принял их с „исключительным радушием, угостив прекрасными яствами и ви-

нами. Он привел нам, — пишет де-Мион, — молодых красивых черкешенок, своих рабынь, предоставив нам на этом празднике решительно все, что могло бы нам быть приятным".[66]

Во многих домах доверенными лицами при „барыне" были турчанки, „персидки" и калмычки. По большей части они попадали в дом еще детьми, как трофеи, вывезенные из походов. Чуждаясь остальной прислуги, они бессменно находились при своей госпоже, располагаясь на ночь на ковре у порога ее комнаты. Однако, „при спальне" состоял еще целый ряд горничных и „девок". Самая дородная из них избиралась для обогревания барского кожаного кресла, зимою же, перед выездом на прогулку, на ее обязанности лежало обогревание подушки кареты. Затем следовали „самоварщицы", „хлебщицы" и, наконец, целый штат прачечной.

В каждом большом доме были также свои „полочисты". Печами ведали истопники, к ночи накладывавшие дрова и заправлявшие печи; рано утром, бесшумно, их зажигали, чтобы к „вставанию" господ всюду было тепло. Истопники набирались преимущественно из северян, так как считалось, что украинцы, не привыкшие к северным морозам, не умеют топить печей. В больших домах держали также своих „рукодельных" людей—сапожников, столяров, шорников и слесарей. Разделение труда было, как видно, полное.

Ле-Дюк оставил следующее любопытное описание барских домов Петербурга николаевского времени.—На вечерах поражает исключительное обилие ливрейной прислуги. В некоторых домах их насчитывают 300-400 человек. Таковы нравы русских бар. Они не могут жить без окружения значительным числом прислуги, незнакомым другим странам; это не мешает, однако, тому, что они являются людьми хуже, чем где бы то ни было обслуженными. В дни торжественных приемов, по зову управляющего, являются все проживающие в городе, по оброку, крепостные. Они надевают имеющиеся запасные ливреи и служат на торжественных приемах. На следующий день, придя куда-либо в магазин, вы не удивитесь, узнав в приказчике, отмеривающем вам материю или завязывающем ваши пакеты того, кто подавал вам вчера чай или шербет. Таково все в России: „однодневный наряд, обманывающий блеск".[67]

Однако, такое обилие прислуги с точным разделением труда встречалось лишь в домах высшего дворянства. Люди менее обеспеченные старались держать прислугу самых универсальных знаний. Полковник Егор Комаровский, публикуя в 1805 г.

о сбежавшем дворовом человеке Сергее Иванове, указывает: „искусной повар, лакей, башмачник, сапожник и печник“.[68]

Крепостной быт в Петербурге накладывал свой отпечаток и на уличную жизнь. Так, вельможа выезжал в карете цугом с мальчиками-форейторами на „выносных“ лошадях и с выездными верзилами-лакеями на запятках. И чем выше бывал выездной, тем знатнее был его барин. „Никогда, ни на одной ярмарке, где показывают великанов, — записал один путешественник, — нельзя увидеть таких гигантов, как придворные лакеи, сопровождающие на прогулках императрицу Александру Федоровну“. Ливрейный лакей сопровождал свою госпожу при ее выезде в Гостинный двор за покупками. Даже мелкий чиновник и тот не мог отправиться на вечеринку к департаментскому приятелю без того, чтобы у него не трясся на облучке его Кирюшка в рваной шинели. Молодого чиновника-барчука, а тогда служили в министерствах с 15-16 лет, провожал на службу лакей. Богатый студент являлся в университет в сопровождении гувернера или лакея.

Наличие огромного штата прислуги поражало приезжавших в Россию иностранцев Джон Куинси Адамс, американский посланник в Петербурге в 1809—1812 г.г., привыкший к скромной жизни буржуазии Нового Света на рубеже XVIII—XIX веков, со смущением отметил в своих мемуарах, что он вынужден был содержать здесь—метрдотеля, повара, камердинера, горничную, швейцара, кучера, двух лакеев, двух кухонных служителей, рассыльного, истопника, уборщицу, прачку. Между тем, первоначально, его штат ограничивался всего лишь двумя лицами.

Как передавал доктору Грэнвиллю некий генерал,—число слуг в столице, после воины 1812 г., значительно сократилось; тем не менее, работой занята была лишь одна десятая часть штата. Даже стесненные в средствах держали значительное число прислуги. Во всякой другой стране у стола прислуживают 3, 4 или 5 слуг, в России же лакей должен стоять обязательно за каждым стулом. Хуже всего то,—жаловался рассказчик,—что в каждом доме число слуг возрастает с поразительной быстротой; во первых потому, что они выписывают своих жен, во вторых потому что у них рождаются дети, а в третьих—к ним неизбежно переселяются родственники, а затем и друзья, жаждущие, в свою очередь, воспользоваться барскими щедротами. Когда я женился, закончил он, я решил ограничить свой штат всего лишь сорока слу-

гами. Но к моему большому удивлению, три или четыре года спустя я заметил, что число их почти удвоилось[69].

Число прислуги было в некоторых домах так велико, что господа многих не знали по имени. По отчеству же называли лишь заслуженных стариков. В таком случае их звали „Сергей Семенов", „Иван Петров". Когда же среди прислуги имелось несколько Петров или Иванов, каждому из них давали особую кличку. Была „Аришка Бо́льшая" и „Аришка Мѐньшая". Был „Макарка Вихор" и „Макарка Пучеглазый". Случалось, что такой „Макарка Вихор", получив в детстве свое прозвание, носил его потом до седых волос. И часто, бывало, что на зов барина: „Степка" или „Афонька" из „приспешной" появлялся благообразный старец 70 лет.

Одной из самых тяжелых обязанностей было обслуживание „детских комнат". Прислуживать капризным распущенным „барчукам" и „барышням" было настоящей мукой. Между тем, в больших домах при „детских комнатах" состоял целый штат специально приставленных людей. Когда у Н. П. Шереметева родился в 1803 г. сын, то для охраны наследника огромного состояния было установлено особое дежурство прислуги. „При специальных дверях снаружи, — последовал графский приказ, — быть посменно и безотлучно по два человека из разночинцев. Из нутри спальни двери должны быть всегда заперты ключем, которые не иначе отворяться должны для входу, как со спросом—кто пришел, по моему ли повелению, и имеет ли билет мой; а иной никто впущен быть не должен. Назначенным к дверям разночинцам в ночное время, переменяясь, спать в той комнате, где они при дверях назначены и наблюдать, чтобы двое отнюдь не спали, а двое отдыхали". Однако, особое усердие надзирающих за графским сыном не было забыто Н. Шереметевым при составлении им завещания. „Дядьке" молодого графа и его „маме" было „отказано" в завещании по 40 и 30.000 руб., подлежавших выплате им или их наследникам по окончании воспитания их питомца.

Но подобные случаи были, конечно, исключением. Обычно материальное положение слуг, даже в богатых домах, было очень тяжелое, так как жалованья они не получали. Лишь в „зараженных европейскими порядками" домах им выдавали ежемесячно несколько рублей. Но подобных домов было мало и поэтому такого рода „щедрые" господа хвалились своим либерализмом. Генерал В. С. Голицын говаривал: „Я достаточно богат, чтобы платить людям мне служащим". О подобных „чудачествах" обычно говорили с усмешкою. Даже у „самого

богатого человека в России", Н. П. Шереметева, высшее жалованье, камердинера, не превышало, на рубеже XVIII-XIX веков, 60 руб. в год. Управитель, „поверенный служитель" (домашний юрист) и „учитель концертов" получали 50 руб. в год; портной и подлекарь получали по 30 рублей.[70] И лишь в особо торжественных случаях свадеб или рождения наследника,— слугам выдавалось денежное вознаграждение. Старым, заслуженным слугам жаловались серебряные часы, предмет зависти всей дворни.

Обычно, даже в богатых домах столицы, жалованье слуги ограничивалось 5 руб., выдаваемыми к пасхе.

Таким образом, главный расход на прислугу состоял в ее „прокормлении". Во всем обязательная „табель о рангах" была особенно ощутительна, как отмечал Коль, в вопросе „стола". Так, иностранная прислуга всегда обедала отдельно. Она собиралась в буфетной, по окончании барского обеда, где ей тщательно сервировался обед из обильных остатков господского стола. Кушанье на стол подавали лакеи. Вместе с „избранными" обедали дворецкий, камердинеры и камеристки. Женатые приходили с женами. Часто за этим же столом обедал и домашний врач, старавшийся приурочить свой ежедневный визит к обеденному часу, но стеснявшийся общества знатных хозяев дома. Тут же обедали и личные секретари барина. Так, М. Сперанский, состоя секретарем А. Б. Куракина и имея разрешение обедать за княжеским столом, предпочитал обедать с горничными и старшим камердинером, особенно покровительствовавшим молодому секретарю.[71] Когда же, много лет спустя, в бытность Сперанского пензенским губернатором, к нему явился его бывший покровитель, княжеский камердинер, в качестве просителя, Сперанский к удивлению всей губернаторской приемной, обнял „Ивана Макаровича, старого знакомого" и всячески ему помог.

Следующую группу „табели о рангах" составляли лакеи, повара, швейцары, старший кучер, горничные и „приканцелярские". Они обедали в „первой застольной". Но их обед уже значительно отличался от обеда в буфетной. Тут подавался борщ, приправленный салом, каша и тушенная капуста. Два раза в неделю полагался мясной пирог, по праздникам—сладкий. Пили квас. К столу подавали „работные бабы" из кухни и „кухонные мальчики".

И, наконец, последнюю, низшую группу составляли истопники, кучера и вся „кухонная служба". Они обедали в „людской застольной" или на кухне. Даже в больших домах стол

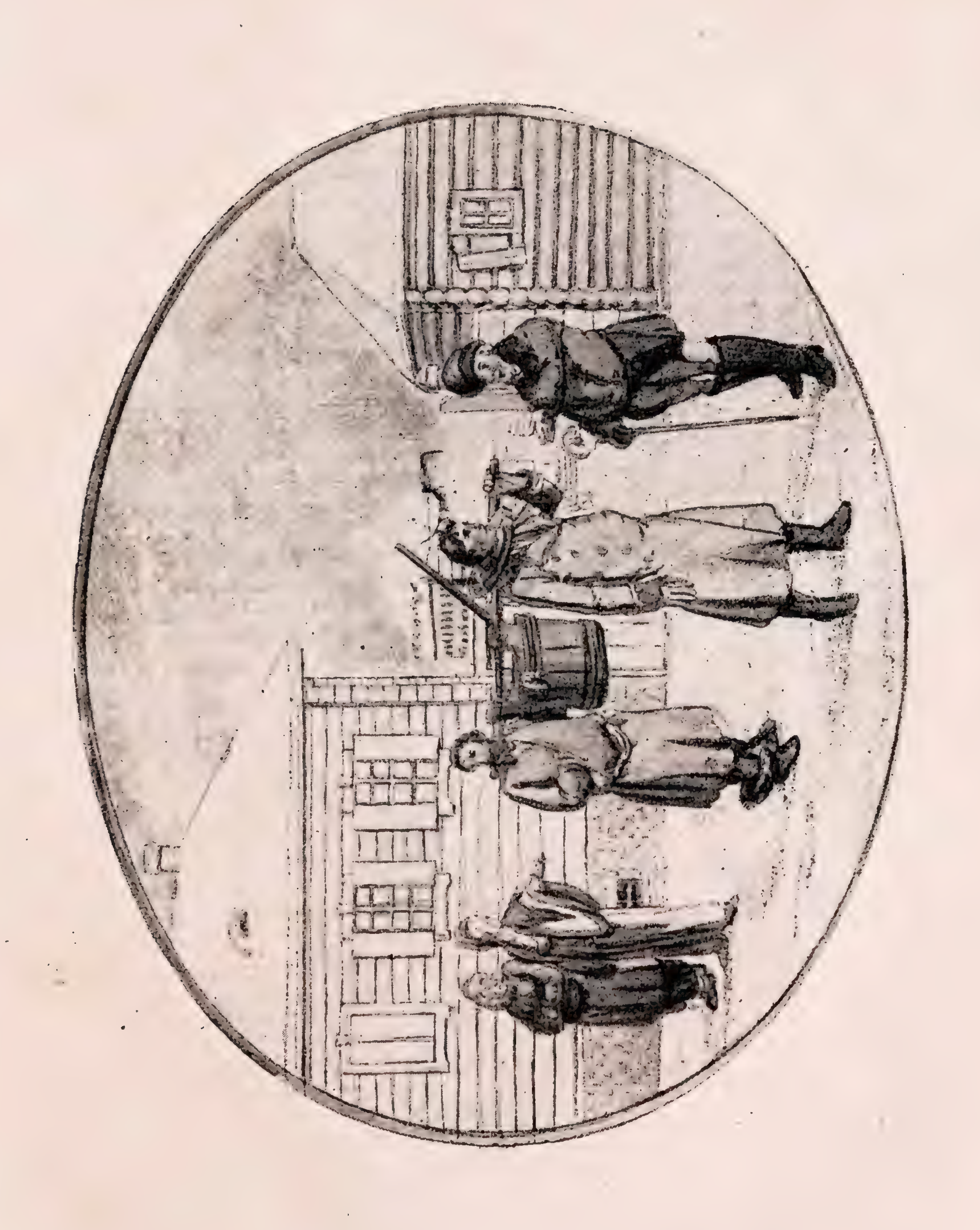
их был скуден. Они получали щи с салом или со сметаной, по воскресеньям—с мясом; гречневая каша, горох, картофель или свекла являлись их неизменной пищей. Хлеба в то время старались давать к обеду как можно меньше, так как он был дорог. „Кухонная служба“ „подкармливалась“ тайком, но кучера, истопники и сторожа жили впроголодь. Лучше жилось в тех домах, где кроме стола полагалась „дача натурою“. В таких случаях слугам выдавалось ежемесячно определенное количество муки, крупы, капусты, сала.

Жена английского посланника при дворе Николая I лэди Блумфильд оставила нижеследующее описание жизни прислуги посольского дома. „Комнаты мужиков были без всякой мебели и, если не ошибаюсь, они спали на полу, завернувшись в свои бараньи тулупы. Пища их состояла из капусты, замороженой рыбы, сушенных грибов, яиц и масла, весьма дурного качества. Они смешивают все это в горшке, варят эту смесь и предпочитают эту тюрю хорошей пище. В бытность свою послом, лорд Стюарт Ротсей хотел кормить мужиков, как и остальную прислугу, но они отказались есть то, что приготовлял для них повар. Они носили красную рубашку, широкие нанковые шаровары на выпуск, куртку и передник, причем они раздевались только раз в неделю, когда шли в баню“.

Иногда господа, во избежание хлопот, не держали своего „стола“ для дворни, ограничиваясь выдачей 3-5 руб. в месяц на человека „на харчи“. Женщины получали в таком случае рублем меньше. У мелкопоместных дворян и у чиновников крепостных кормили так худо, что голодные слуги ходили обедать в какой-либо соседний богатый дом, к „землякам“, что отнюдь не смущало их господ.

Бывали дома, где прислугу не кормили не из скупости, а потому, что господа сами жили впроголодь. И весь дом с нетерпением ждал наступления санного пути, когда „нижайший раб и слуга бурмистр Федулий“ приводил в город обоз с ржаной мукой, коровьим маслом, салом и прочей снедью. Тогда начинался пир горой. При возвращении же обоза в деревню, прислуга обычно отправляла с ним кое-какой бакалейный товар. И следующий, уже масленичный, обоз доставлял дворне вырученные от продажи продуктов деньги. Вся мужская часть прислуги отправлялась тогда в соседний трактир чествовать прибывших.

Привольно жилось слугам лишь при выезде со своими господами за границу. Во избежание побегов, их там хорошо одевали, кормили и платили приличное жалование. Но



по возвращении домой они лишались всех этих привиллегий. Даже платье, сшитое „за кордоном“, отбиралось. Его выдавали лишь по торжественным дням, когда надо было служить гостям.

К „столу“ лакеи надевали обычно серые или синие фраки с костяными пуговицами. В знатных домах слуги носили ливрею. В зависимости от достатка хозяев, она бывала „годовою“, то-есть выдавалось на год, или „двухгодовою“. Обычно верхнее платье выдавалась на год, шинель или тулуп—на два года или „до износу“. Сапог полагалось две пары на год и „головки“. В домах попроще прислуге шились казакины из черного некрашеного сукна и синие суконные шапки с овчинным околышем. Но от бессменного ношения одежда быстро снашивалась и дворня всегда ходила оборванной. Женщинам выдавали обувь, белье и „пестрядь“ на платье. Кроме того, они получали по полтинному в год „на подметки“.

Для размещения прислуги предназначалась особая „людская“, „службы“ и „приспешная“. Но в то время, как барские 10-12 комнат занимала семья господ в три-четыре человека, в двух „людских комнатах“ помещалась 20-25 человек прислуги. За недостатком места некоторые вынуждены были спать в конюшне, в сараях; казачки на ночь располагались в передних, лакеи в коридорах. А. С. Строганов один занимал в своем дворце на Невском пр. весь бельэтаж. Нижний этаж занимала „контора“. Много ли оставалось в доме места для 600 строгоновских слуг! В лучшем положении оказывались семейные люди. В богатых домах им все же старались отвести какое-либо помещение. Но с одинокими совсем не церемонились; собственных постелей они никогда не имели и, с наступлением ночи, они со своими тюфячками или ковриками бродили по всему дому, розыскивая незанятый уголок, где можно было бы пристроиться спать.

В домах провинциального дворянства, как отмечают современники, людские флигеля бывали буквально переполнены „дворскими“ детьми. В Петербурге же наблюдалось часто обратное явление. Здесь, в знатных домах иногда почти совсем не было видно детей, несмотря на множество семейной прислуги. Это объяснялось тем, что, по мнению господ, прислуга, обремененная детьми, „худо служит“, а потому детей старались отослать в деревню. Обычно, после очередного обхода дворецким дворовых флигелей, составлялся список детей, подлежащих отправке в деревню, во избежание лишней грязи и шума в барском доме. И первый же обоз,

доставивший господам продукты из деревни, уходил обратно, увозя дворовую детвору. Таким образом, мать расставалась с ребенком на долгие годы; детей возвращали в город лишь тогда, когда они выростали настолько, чтобы быть пригодными к барской службе.

Одевали их в домашнее сукно, а на ногах они носили „волоснички", род лаптей, сплетенных из конского волоса, которые они сами плели. Детей наиболее способных и „пристойной наружности" обучали в больших домах танцам. Они носили название „бальных детей". В торжественные дни они должны были „изображать балет". Расход на их содержание был очень не велик. Они получали лишь ежемесячно пятачек на баню, да полтинник в посту, „на говенье". Щедрые господа выдавали еще на маслянице четвертак, „на баловство", который тотчас же отбирался родителями. Мальчики начинали получать жалованье с 18 лет; девочкам же иногда вовсе не платили.

Таким образом, расходы на содержание дворни, по существу, занимали в бюджете знатного петербургского дома очень скромное место. В среднем, расход на крепостного человека, при условии даже выдачи ему жалованья, редко превышал 250 рублей. Из этой суммы около 30% приходилось на жалованье, 15% на „прокормление", остальные деньги шли на „построение одежды" и выдачу съестных припасов. Таким образом, крепостной слуга обходился в 3—4 раза дешевле, чем на Западе.

Такое нищенское содержание петербургских слуг неминуемо толкало их на преступление. За русским слугой у иностранцев установилась определенная репутация „первого в мире вора". „Они крадут все, что только могут!"—записал о русских слугах один иностранец. Как отметил в своих записках известный английский путешественник В. Вильсон, хозяйка его петербургской гостиницы ему жаловалась, что слуги крадут все, что только попадется под руку, вплоть до ключей от комнат. Забытая серебряная ложка тотчас исчезает со стола. „Однако,—записал Вильсон,—этот упрек относится не только к слугам; также и гости, без всякого угрызения совести, забирают всякую мелочь или безделушку, попавшуюся им на глаза в вашем доме. У одного знатного англичанина, недавно посетившего Петербург, после данного им роскошного приема, кто-то из гостей унес несколько блюд от обеденного сервиза" [72].

Хотя газеты и пестрели объявлениями об „отпуске для услуг людей хорошего и неиспорченного поведения", но на

деле это было далеко не так. Обычно слуги проводили в безделии весь день в „застольной“, за игрой в короли или в мельники. Работу же выполняли, главным образом, подростки. Казачек в доме вставал первым и ложился последним. Дежурство в прихожей добросовестно нес только казачек, в то время как „швейцарские лакеи“ заходили в прихожую разве только в пьяном виде, чтобы тотчас заснуть, развалясь где попало на полу.

Пьянство среди дворовых было так развито, что „рачительные“ хозяева, из боязни за своих слуг, никогда не селились близь питейных домов. Х. Мюллер знал в Петербурге дома, где прислуге раз в неделю выдавались деньги на водку, с разрешением в этот день напиться, но зато с обязательством остальные дни недели быть трезвой. Однако, обычно слуги повсюду были уже с утра „выпившие“. Тщетно дворецкий ведет в „часть“ наказывать лакеев-пьяниц, они, и вернувшись со съезжей, „грубят“ и не обнаруживают охоты к работе.

Поэтому „вольный“ слуга, умеющий брить и причесывать, да к тому же непьющий, зарабатывал на всем готовом 35 - 40 руб. в месяц, камердинер или кондитер 75 - 80 рублей. [73] Но „вольных“ слуг в городе было мало. Среди наемной прислуги преобладали, главным образом, крепостные оброчные. Приезжая в Петербург, они, в поисках места, обращались прежде всего к иностранцам, лучше содержавшим прислугу и больше ей платившим. И лишь не найдя там места, поступали к купцам. „Слуги нанимаются обыкновенно месячно,—сообщает Башуцкий,—в зависимости от наружности, способности и должности, получают от 25 до 75 руб. в месяц, женщины от 10 до 30 рублей. Сорок лет назад они получали от 10 до 25 руб., служанки от 4 до 10 рублей. Слугам, нанятым от чьеголибо управителя (то-есть крепостным), платили не более 30 рублей“.

Доктор Грэнвилль, оставивший одно из самых обстоятельных описаний Петербурга 20-х годов, сообщает нижеследующие сведения об условиях жизни петербургской наемной прислуги.—Лакей получал 35—40 руб. в месяц; его кормили, но не одевали. Кучер получал 40 руб.; его, наоборот, не кормили, но одевали, желая щегольнуть, при выезде, богатством кучерской одежды. Кухаркам, камеристкам и прачкам платили 25 руб., горничным и няням—15 рублей. Месячный расход по содержанию каждого слуги исчислялся в 15 рублей. „Они не имеют определенного помещения,—отметил Грэнвилль,—их

не снабжают постелями, одеждой, сахаром, чаем или чем-либо из съестных припасов; даже в лучших домах они спят, где попало—на лестницах и т. д.“ [74].

Все возраставший спрос на наемную прислугу вызвал необходимость открытия в Петербурге специальных контор, поставлявших слуг. В 1802 г. в „СПБ. Ведомостях“ появилось объявление „мадамы Эдоль“, проживавшей на Невском, близ трактира „Париж“, с предложением „кормилиц, клюшниц, горнишных девушек, камердинеров и лакеев“. Вскоре у „мадамы Эдоль“ появилась конкурентка, в свою очередь объявлявшая, что „имеющие надобность в служителях, могут оных нанимать у представляющей в услужение таковых людей, живущей в Мал. Морской ул., в доме № 98“. [75]

Наконец, в 1822 г. на углу Мал. Морской ул. и Невского проспекта в доме именитого купца Косиковского, перестроенном впоследствии архитектором Л. Бенуа, открылась, на заграничный манер, „Контора частных должностей“ Гомулецкого де-Колла. Сюда являлся и громадный гайдук в рваной шинели, в поисках места егеря, и скромный швейцарец-учитель, искавший „приличных“ уроков французского языка. Рядом с кормилицей в голубом кокошнике тут же сидел, в ожидании нанимателя, немец-танцмейстер, державший в руках пачку аттестатов из „знатных домов“. Как гласили публикации „Конторы“, здесь каждый мог найти для себя „потребное“ — „помещик — получить наставника, желающий получить свой портрет — художника“. При этом Контора обязывалась рекомендовать лишь людей „способных и нравственных“. Здесь поставляли „гувернеров, дядек, архитекторов, художников, музыкантов, певчих, механиков, граверов, врачей, дантистов, костоправов, бухгалтеров, переводчиков, мастеров книгопечатания, поверенных, компанионок, повивальных бабок“. Характерна плата, взимавшаяся Конторой за оказываемые ею услуги. Лицо, предлагающее свой труд, при обращении в Контору, уплачивало $^1/_2$% с требуемого им годового вознаграждения, наниматель платил 1%. При состоявшемся найме работника, он уплачивал 2% своего годового жалованья, работодатель—3%. [76]

Однако, подлинной „биржей труда“ в Петербурге, еще с XVIII века, являлась местность у Синего моста, на Мойке, как об этом сказано выше. Тут не только нанимали людей, но, при случае, и покупали их. Продажа людей на рынках была в то время делом настолько обыденным, что не привлекала к себе ничьего внимания. Фрейлина О. Шишкина, автор



известных исторических романов, передавала А. О. Смирновой-Россет, что, при окончании ею в 1808 г. Смольного института, ей купили в Петербурге на рынке „девку" за семь рублей. [77]

Были в Петербурге и другие места, где можно было подыскать себе „людей для услуг". Очень популярна была в этом отношении площадь у Казанского собора, вернее Казанский мост, где с утра толпился крепостной люд в поисках места или поденной работы. Чернорабочие собирались, главным образом, на углу Невского и Владимирского пр., у так называемой „Вшивой биржи", получившей свое название от уличных цырульников, особенно многочисленных в этом районе. Сюда же с утра стекались бабы, торговавшие всякой снедью и привлекавшие в „Обжорный ряд" толпы изголодавшихся людей. Плотники и каменщики собирались обычно у Сенной площади; на Никольском мосту стоял длинный ряд кормилиц и кухарок. В Апраксин, на „Толкучий рынок", стекались „плотные мужики, предлагавшие свои жилистые руки для переноски диванов, столов и комодов". [78]

Значительно больше русских слуг зарабатывала иностранная прислуга. „Хотя один немецкий слуга стоил в три раза дороже русского,—записал А. Шлецер,—но про них распространилась слава, что они аккуратнее и чище и что вообще могут сделать втрое больше чем русский крепостной". [79] Повар-француз легко зарабатывал в Петербурге 150-200 руб. и больше, лакеи и кучера 40-50 руб. в месяц, камеристки 60-80 рублей. Очень высоко оплачивались англичане. Вознаграждение английского камердинера доходило до 150 руб. в месяц. [80]

Иностранцы отдавали, однако, должное известным достоинствам русских слуг. „Французский слуга превосходен,—отметил Фабр,—но русский единственен в своем роде. Оба смышленны и ловки; француз, однако, захочет рассуждать над тем, что ему прикажут или даже пожелает стать барином. Русский исполнит буквально все то, что вы ему прикажете; его повиновение безгранично; сказанное слово нет нужды повторять; оно навсегда имеет силу закона. Хороший слуга—лучший слуга в мире".—Своего „Федора" Фабр нанял случайно. „Я велел ему сбросить зипун. Я мог бы сделать его своим секретарем, конюхом, моим метрдотелем, моим управителем. Но имея нужду в лакее, я его взял в лакеи.—На следующий день он был уже неузнаваем. Он явился утром в галстухе, свеже начищенных сапогах, с причесанными хохлом

волосами и заткнутым за пояс передником. Он с особо озабоченным видом мне подал чай. Через неделю он это делал с изяществом, подражая в этом настоящим лакеям. В одно из воскресений какой-то молодой человек, раскланявшись со мной на улице, подошел ко мне. Я недоумевал, кто может быть этот незнакомец. Вдруг я узнал моего Федора, в подаренном мною костюме. Через месяц мы так привязались друг к другу, будто были уже годами неразлучны. Он изучил все мои привычки и вкусы и умел их угадывать даже, когда я молчал. Но это не все. Он знает все ремесла: он вяжет чулки, чинит сапоги, делает корзинки и щетки. При надобности, он был моим столяром, седельником, портным, слесарем". [81]

Достоинства безответного русского слуги вспоминал в одном из своих писем и Герцен: „Здесь трудно найти слугу,— писал он в 1847 г. из Парижа,—который бы веровал в свое призвание, слугу безответного и безвыходного, для которого высшая роскошь—сон и высшая нравственность—ваши капризы, слугу, который бы „не рассуждал". [82] Между тем, как заметил еще в XVIII веке Регенсбургер,—„ни в какой земле не жалуются столько на слуг, как в России". [83] Н. И. Тургенев также записал, что „огромное количество слуг, стóящих в конце концов очень дорого, не препятствует тому, что русские господа обслужены хуже, чем где бы то ни было". [84]

„Заграницей и даже в Петербурге у иностранных купцов в доме один слуга; а между тем все чисто, все убрано,— писал в сороковых годах А. Кошелев.—За столом он один служит 15-20 человекам; везде он поспевает; нигде нет за ним остановки. Почему? Потому, что он получает жалованье хорошее, то-есть то, чего нам стоят двое-трое наших слуг; потому что если он не будет исполнять всех требований своего хозяина, не будет предупреждать его желаний,—то его сошлют в деревню и возьмут слугу более усердного. Спросите иностранцев в Петербурге, как они довольны нашими, так называемыми артельщиками: один человек служит за троих.—Отчего?—Охота пуще „неволи". [85]

For freedom's battle once begun,
Bequeathed by bleeding sire to son,
Though baffled oft, is ever won.

Byron.

(Раз начатая битва свободы, завещанная сыну истекающим кровью отцом, хотя часто встречает отпор, под конец всегда выиграна).

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Обычное отношение господ к прислуге не отличалось самой элементарной добросовестностью. Да и к чему было утруждать себя излишними о них заботами! Еще Сумароков писал Екатерине—„наш нисший народ никаких благородных чувствований не имеет.“ [86]

Прошли после того долгие десятилетия и А. Тухачевская, двоюродная сестра знаменитого физиолога И. М. Сеченова, „настолько благочестивая дама, что жила в монастыре, нанимая там квартиру“, вполне искренно утверждала, что дворяне происходят от Иафета, а крепостные от Хама. [87]

Даже Державин и Карамзин, Мордвинов и Лобачевский, в отношении своих крестьян, были „сынами своего века“. Переводчик Лафонтена Дмитриев-Мамонов так истязал своих крестьян, что вызвал даже вмешательство Екатерины II. Известный баснописец Дмитриев, обедая с друзьями под липами „Филемон“ и „Бавкида“, не постеснялся прибить лакея, разбившего стакан. Даже Новиков, слывший „мартинистом“, своего любимого секретаря, за „баловство“, сдал в солдаты. Просвещенный Фонвизин, один из образованнейших людей своего времени, почувствовал себя необычайно оскорбленным тем, что во Франции лакеи не вскакивали с мест перед господами, проходившими мимо этих „скотов“.

Прошло много лет и „смягчились нравы“, как писали историки. Однако, в николаевское время некий действительный тайный советник Ланской выражал убеждение, что „продажа людей, как целыми селениями, так и порознь, без земли, нисколько не унизительна для человечества, ибо сею продажею, также как и наследством, ничего иного с ними не делается, как только передается от одного помещика другому право на владение ими или, лучше сказать, переменяется одно имя владельца“. [88] Нашелся также „доктор обоих прав“ Грибов-

ский, который в особом, посвященном „сиятельнейшему графу А. А. Аракчееву“, сочинении, писал, что „мнение утверждающих рабство противным вовсе уму и уничижающим природу человеческую—кажется слишком пристрастным“. [89]

К счастью, сохранились и другие свидетельства современников по этому вопросу. „Я не навык мучить несчастных слуг,—записал в екатерининское время Г. Винский,—глядеть покойно на брызги крови, слушать хладнокровно их вопли, не трогаться их стонами, видеть их голодных, холодных и всегда готовых забавлять их мучителей“. [90]

Действительно, условия жизни крепостных слуг были невыносимо тяжелы. Сколько жестокостей таила в себе повседневная жизнь! Маленькие форейторы, привязанные ремнями к лошадям, во избежание падения при быстрой езде, часами мерзли в суровые морозы у подъездов. Никто не интересовался также отмороженными руками и ногами своих кучеров. Лишь некоторые сердобольные господа оставляли своих кучеров в сенях, где они и заваливались спать, не тужа о твердости ледяных ступеней каменной лестницы [91]. Не имевшие же от своих бар разрешения оставить козлы, как отмечал еще Шантро, случалось, замерзали. [92]

„В январе не проходит ни одного бала,—записал полвека спустя Кюстин,—без того, чтобы два-три человека не замерзли бы на улице. Одна дама, более искренняя, чем другие, которую я неоднократно расспрашивал по этому поводу, ответила мне таким образом: „Это возможно, но я об этом не слыхала“. Уклончивый ответ, стоящий признания. Нужно побывать в России, чтобы узнать до каких размеров может дойти пренебрежение богатого к жизни бедного и чтобы понять, какую вообще малую цену имеет жизнь в глазах человека, осужденного влачить дни под игом абсолютизма“.

Кюстин, ознакомившийся с русской действительностью, откровенно рассказал заграницей о своих впечатлениях. Однако деспотизм и жестокость русского дворянства были и до того широко известны в Европе. Поэтому русские дворяне, приезжавшие за границу, из опасения прослыть варварами, всячески старались подчеркнуть свою гуманность. Сохранился любопытный рассказ об известном своей жестокостью Остермане-Толстом, герое Кульма, поселившемся в тридцатых годах XIX века в Женеве. Он держал при себе, кроме швейцарца Фрица, также своего крепостного камердинера. Когда кто-либо из иностранцев посещал Остермана-Толстого и речь заходила об „ужасах“ крепостного права, хозяин, выслушав

гостя, вызывал крепостного камердинера.—„С каких пор ты у меня служишь"?—спрашивал он.—„С самого детства, ваше сиятельство",—отвечал слуга на ломаном французском языке. „Бил я тебя когда-нибудь"?—„Сохрани бог, ваше сиятельство". —„Ну, хорошо, позови Фрица".—Являлся Фриц.—„Гражданин свободного народа! Сегодня я в раздраженном состоянии и рука у меня чешется, чтобы дать тебе пощечину".—Швейцарец подходил, получал пощечину и тотчас удалялся. Остерман-Толстой держал его специально для того, чтобы награждать пощечинами при своих гостях. Но за это он платил швейцарцу большое жалование.

Конечно, „легенды", ходившие за рубежом о русском „варварстве" все же не отражали подлинной русской действительности, так как очень многое ускользало от самого внимательного взора иностранца. Фигуры мерзнущих у подъездов кучеров, конечно, бросались в глаза. Но кто из путешественников мог заглянуть, например, в столичные девичьи, существовавшие во всех богатых домах?

Девичья вставала на рассвете и работала целый день. Тут обшивали барских детей и прислугу, делали столовое и носильное белье, вязали на зиму теплые вещи и ткали ковры, покрывала и скатерти. Здесь же шились иногда экономным „барыням" и богатые бальные туалеты. Громадного напряжения требовали также тонкие кружева, „паутинки" и „решетки". Часто над одним платьем две „девки" сидели по несколько месяцев. В летнее время такая работа была особенно мучительна, так как требовала большой чистоты рук, чтобы работа вышла из пяльцев совершенно чистой. Мытая работа теряла уже свой вид, а, следовательно, и цену. Нерадивых секли, а старательные сами осуждали себя на безбрачие. „Вот еще, учила, учила девку, выучила, да и выдавай ее замуж. А кто же мне шить-то будет"?—Если же случалось, что какая-либо девушка, несмотря на строгий присмотр, готовилась стать матерью, ей стригли волосы, одевали в белое посконное платье и отсылали в деревню на скотный двор.—Однако, швеи редко оставались в девичьих продолжительное время; постоянное напряжение глаз уже в молодые годы притупляло их зрение, превращая их со временем в полных инвалидов. Тогда девушку отсылали в деревню коротать на завалинке свой век; теперь ей разрешалось выйти замуж. В знатных домах случалось, что вся приближенная к барам прислуга обрекалась на безбрачие, так как считалось, что „обзаведение семьей" лишает службу при господах „ревности и усердия".[89]

Прославившиеся в те времена крепостные гаремы в столице были, конечно, редкостью. Тем не менее и здесь ряд дворян держал при себе крепостных одалисок, именовавшихся, на языке того времени, „канарейками". Отставных военных при их наездах в Петербург, постоянно сопровождало несколько крепостных девушек. В справке из дел III Отделения о привлеченном по делу декабристов Осипе Горском сказано нижеследующее: „Сперва он содержал несколько (именно трех) крестьянок, купленных им в Подольской губернии. С этим сералем он года три тому назад жил в доме Варварина (дом купца Варварина, с известною „Варваринскою гостиницею", стоял на Больш. Мещанской, ныне ул. Плеханова). Гнусный разврат и дурное обхождение заставили несчастных девок бежать от него и искать защиты у правительства—но дело замяли у гр. Милорадовича". [94]

Очень тяжело жилось также дворовым людям военных, заводивших у себя солдатскую дисциплину и немилосердно дравших своих слуг. Лакей одного из офицеров гвардейской артиллерии, побежав срочно выполнять приказание своего барина, надел, при штатском платье, военную фуражку денщика. На несчастье ему встретился в. кн. Михаил Павлович, тотчас заметивший „лакейскую дерзость". На следующий день вышел приказ командира гв. артилерии высечь лакея розгами. Когда же командиру доложили, что лакей не крепостной, а немец, он ответил: „Тем лучше, пусть немец попробует русских розог".—И немец был высечен в манеже в присутствии собранных отовсюду денщиков и офицерских лакеев. [95]

Горька была и доля офицерских денщиков. Их совсем не кормили, а от постоянного „рукоприкладства" у них обычно недоставало передних зубов. Строжайшая дисциплина распространялась не только на них, но и на членов их семейств. В одной из гвардейских частей некий батарейный командир, как рассказывает современник, сек иногда даже жену своего денщика, „потому что она была красива собой и ему нравилось смотреть на нее во время процесса сечения". [96]

Трудна была также жизнь купеческой прислуги. Не имея права владения крепостными, купец, выдав сестру или дочь за мелкого чиновника, тотчас покупал себе крепостных слуг на его имя. Если, однако, чиновной родни не оказывалось, то слуг нанимали из оброчных. За „дерзостные поступки", купцы сами своих слуг не наказывали, а обращались к своему квартальному, прося „сделать надлежащее распоряжение". Внизу



следовала приписка: „При сем прилагаются три рубля на розги“. Вслед за этим из части являлся унтер-офицер, „хожалый“, уводивший жертву на расправу. Случалось, что при простоте нравов того времени, письмо квартальному относил сам провинившийся, тут же получавший на месте соответствующее „внушение“.

Все же в купеческих домах прислуге жилось легче, чем у дворян. Случалось, что сам хозяин, из выкупившихся на свободу крепостных, носил еще на своей спине следы барских плетей, либо он помнил рассказы отца о том, как „ломали“ людей на господской конюшне. Купеческая прислуга, даже если это были крепостные, выглядела опрятнее, чем в больших барских домах. Наемные слуги из оброчных,—а таковых было большинство,—получали жалованье. В богатых домах, к Рождеству и Пасхе давали полумесячный оклад „в награждение“. Кроме того мужчинам выдавались шапка и сапоги, женщинам—ситец. „А ежели у именитого купца в день ангела соберутся гости, он, во время обеда, громко, на всю столовую прикажет хозяйке: „Выдать всем людям, не в зачет, по три рубля“—и оглядывается—слышали ли все гости о его щедрости“.

Зато за всякую провинность купцы строго взыскивали со своих слуг, вычитывая с них за каждую разбитую чашку, не в пример барским домам, где, по словам современника—„все бьют, ломают, теряют, будто на подряд; а глупые хозяева довольствуются одним лишь зато наказанием“. Поэтому у купцов обращались бережнее с глиняным чайником, чем в барском доме с драгоценным севрским фарфором.

Прислуга ценила также сытный купеческий стол. Хлеба здесь давали вволю, потому что пекли его всегда дома. Чай выдавался „отсыпной“, а не „спивки“, как у дворян. В обширных же купеческих погребах и кладовых, наполненных неистощимыми запасами, можно было найти „все что душе надобно“.—По законам того времени, иметь крепостных, как было уже отмечено, могли только дворяне. Тем не менее крепостную прислугу заводили себе не только именитые купцы, но даже бухарцы, торговавшие в Апраксином рынке коврами, персидскими шалями и дамасским оружием. В таких случаях, для обхода закона, прибегали к разным ухищрениям.

„Изобретены способы, — писал Каразин, — продавать людей, особливо порознь, лицам, не имевшим права к покупке, например, нахичеванским армянам или бухарцам, разъезжающим с шалями. Условясь о цене, пишут у маклера

контракт, силою которого такой-то помещик или помещица отдает такому-то нахичеванскому или казанскому купцу такую-то свою крепостную девку для наученья шитью золотом и шелками или тканью тех или других материй, сроком на 25 лет (!). Девушка „переходит в объятья азиатца“, а у барыни взамен остается выбранная ею шаль“ [97].

Что касается собственно до города, то он удивительно прекрасен: в Европе нет другова Петербурга.

Карамзин.

Известный пианист Клементи, на заданный ему гр. Орловою вопрос: был ли он уже раз в Петербурге, ответил: „Милостивая государыня, приезжают ли сюда два раза!“

Э. Дюмон.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Крепостному театру, сыгравшему столь значительную роль в истории сценического искуства, посвящен уже целый ряд исследовательских работ. Поэтому автор не считает необходимым подробно останавливаться на этом вопросе, тем более, что в северной столице, обслуженной блестящими императорскими театрами, где выступали не только лучшие русские силы, но и выдающиеся артисты Запада, по существу, было мало места для развития крепостного театра. Петербургского барина, избалованного высоким искусством Жорж, Семеновой или Каратыгина, вряд ли могли интересовать наивные спектакли „домашнего“ театра.

Поэтому наибольшее значение крепостной театр имел в провинции. В одной Москве и вокруг нее насчитывалось до 20 таких театров. В Петербурге же, по сообщению М. Пыляева, в николаевское время крепостные театры были у гр. Васильевой, у Грибоедова, кн. Долгорукова, кн. И. А. Гагарина, гр. Комаровского, Резановых, Авдулиных, И. А. Кокошкина, Титова, Комаровых, Бакунина. [98] Однако, дошедшие до нас сведения о лицедеях этих доморощенных трупп все же очень незначительны. Надо полагать, что, подобно их провинциальным собратиям, доля их была не легкая.

Они жили, обычно, совершенно изолированно в отдельных флигелях. Целыми днями их мучили бесчисленными репетициями, долгими месяцами заставляя с „голоса“ выучивать роли наизусть; лишь в театрах очень больших бар можно было встретить грамотного актера. В театр отбирали, обычно, „видных собою“, красивых и статных людей. Согласно одному из приказов Шереметева, актрисы его театра должны были наби-

раться „из сирот-девочек“, при условии, чтобы „они были лицом и корпусом не развращены и притом и грамоте умеющие“. Другой раз были потребованы „15-ти или 16-ти лет девочки из сирот, которые чтоб были из себя получше и не гнусны видом и станом“.[99]

Что касается жалованья, то крепостные актеры, большею частью, его не получали, так как жили на всем готовом. И лишь в таких богатых домах, как Шереметевых, им положено было определенное вознаграждение. По указу Н. П. Шереметева от 21 марта 1799 г., актерам его театра было определено жалованье в размере от 10 до 60 руб. в год. Прасковья Ковалева, высокоталантливая актриса шереметевского театра, а впоследствии „законная“ жена графа, получала высший оклад — 80 рублей. Положение его актеров считалось исключительно привиллегированным, так как 50-60 руб. в год получали лишь графский камердинер и управитель. Впоследствии оклады актеров были еще повышены. Близкой подруге Прасковьи Ковалевой, танцовщице Татьяне Шлыковой, назначено было уже жалованье в 313 руб., а некоторым танцовщикам по 115 и 121 руб. Кроме того, шереметевские актеры пользовались улучшенным столом. В графском доме имелась „низовая дача“, затем „дача против лакеев“, то-есть наравне с лакеями и, наконец, высшая категория, „верховая дача“, выдававшаяся всем причастным к театру.

Снисходительное отношение графа-мецената к своим актерам исключало возможность телесных наказаний, которые применялись лишь в исключительных случаях. Женщины же были от них навсегда избавлены. Да и как было сечь учениц прославленного европейского балетмейстера Лепика, дававшего в Петербурге уроки шереметевским танцовщикам. Знаменитый актер Иван Афанасьевич Дмитревский обучал их декламации. Все эти юные жрицы Мельпомены, носившие плебейские имена Кучерявинковой, Ковалевой, Буяновой, Чечевициной, по графскому приказу, в один добрый день превратились в Изумрудову, Яхонтову, Гранатову, Жемчугову, Бирюзову, Аметистову. Мужчины же стали именоваться — Мраморовым, Кремневым, Сердоликовым и т. д. [100]

Екатерина II, побывав однажды в знаменитом имении Шереметева Кускове на одном из спектаклей его прославленного театра, сказала, что „это был самый великолепный и приятный спектакль изо всех, какие ей когда-либо устраивались“. Однако с начала 1790-х годов Н. П. Шереметев стал подолгу жить в Петербурге в своем фонтанном доме. С ним приехали

сюда солисты и музыканты; иногда вызывались из Москвы и балетные танцовщики. Тут, в фонтанном доме, Прасковья Ковалева, ставшая к тому времени официальной фавориткой Шереметева, на концерте, данном Павлу I в феврале 1797 г., произвела такое впечатление своим прекрасным голосом, что удостоена была „императорским подарком“ — перстнем в 1000 рублей.

Судьба этой крепостной девушки совершенно необычна.— Дочь шереметевского дворового, Параша Ковалева была воспитана в кусковской школе Шереметевых. Блестяще одаренной девочке дали хорошее образование. Она даже говорила по-французски и по-итальянски. Ее выступления в кусковском театре, под именем Жемчуговой, проходили с громадным успехом. Любовь к музыке и совместные занятия сблизили ее с ее „господином“ Николаем Петровичем Шереметевым.

В 1801 г. крепостная девушка стала гр. Шереметевой. Однако, тайный брак этот был объявлен лишь в 1803 г., после рождения сына, будущего наследника огромного состояния. Брак этого „богатейшего в мире вельможи“ со своей „рабынею“ произвел на современников необычайное впечатление. Но Параша Ковалева всего лишь три недели была графиней. Она скончалась от чахотки в Петербурге, в шереметевском фонтанном доме, три недели спустя после рождения сына. На стоящем и поныне в саду мраморном памятнике сохранилась следующая скорбная надпись неутешного вдовца:

Je crois voir son ombre attendrie
Errer autour de ce sejour,
J'approche! mais bientôt cette image chêrie
Me rend à ma douleur en fuyant sans retour.

И все же внешне столь блестящий шереметевский театр, в состав которого входили такие высоко-талантливые артисты, как Ковалева, Шлыкова и другие, мало чем отличался от „камедей“ провинциального дворянства, смотревшего на театр лишь как на забавную прихоть, тешившую барское тщеславие. Ведь и просвещенный Н. Шереметев, как сообщает П. Бессонов, в дни своей молодости, имел обычай обходить комнаты своих актрис, забывая у „избранной“ свой платок, за которым он возвращался ночью. [101] Как известно, у графа было довольно многочисленное потомство, рожденное от его крепостных. Между тем, внешний этикет графского дома лицемерно требовал соблюдения строгих правил „приличия“. Когда однажды выяснилось, что ученица графского театра Беляева выезжает из фонтанного дома на уроки к актеру Сандунову

в одном экипаже с учеником Травиным, граф возмутился, что „девка ездила вместе с холостым“ и только после того, как Сандунов заверил Шереметева, что эта совместная поездка отнюдь не нарушает правил приличия, он успокоился.

Эти внешне благоприятные условия жизни крепостных актеров знатных дворян, по существу, ничего не меняли в отношениях господина к своим рабам. Барин-меценат вовсе не считался с человеческим достоинством своего актера. Так, об известном вельможе Н. Б. Юсупове рассказывали, что он очень любил развлекать своим московским театром близких друзей-приятелей. И когда заканчивался блестящий спектакль крепостного балета, Юсупов, наряженный в светлый синий фрак и напудренный парик с косичкой, „подавал знак“. И тотчас весь кордебалет, по словам И. Арсеньева, сбрасывал с себя мишурные костюмы, „являясь перед зрителем в природном виде“. Этот финал юсуповских балетных спектаклей приводил в восторг его гостей. [102]

Если Юсупов, этот воспетый Пушкиным „приветливый потомок Аристиппа“, относился с таким пренебрежением к своим артистам, то какова же была участь тех из них, которые принадлежали людям невежественным.

Между тем, среди петербургских владельцев „домашних театров“ был целый ряд подобных лиц. „Это все мои дворовые ребята!“—победоносно орал, в удачных местах спектакля, некий петербургский „меценат“, обращаясь к зрителям своего театра. [103]

Имеется также любопытное описание некоего представления в одном из петербургских крепостных театров начала XIX века.—„Где же декорации?“—спросили хозяина зрители, когда на сцене занавес открыл группы крестьянских мальчиков, из которых каждый держал в руках по одной густой и кудрявой березке. — „Мой театр еще очень нов и домашний Гонзага не поспел своею работою к моим имянинам“, — последовал ответ. Когда наряженный в волчье хозяйское одеяло актер, изображая медведя, заревев, направился по сцене на охотников, громадная датская собака хозяина, „с громким ревом и с быстротою, подобно молнии, бросается на мнимое чудовище и грызет его без милосердия. Ужас расстраивает все машины, лес падает из рук мальчиков, на театре делается смятение, все бегут с воплем и рыданием; зрители одни задыхаются от смеха, другие соболезнуют о страждущем несчастливце. Один только мощной и твердой хозяин сохраняет свое равнодушие, он весьма спокойно оттаскивает бунтую-

щего Цербера от его добычи и с невинностью золотого века говорит: „Продолжайте, дураки! Собаку повесим, а между тем, досмотрим, чем кончится!“ [104]

В двадцатых годах XIX века в Петербург стал привозить свой крепостной театр богатый помещик А. А. Кологривов, известный театрал. В‘езд в столицу этого чудака всегда собирал толпу любопытных. Впереди в щегольском экипаже ехал сам хозяин, занимая своею персоною почти все пространство шестиместной кареты. Он был одет в неизменный коричневый фрак; на голове его красовался огромный парик. Вслед за ним, длинной вереницей тянулся ряд повозок с актерами, музыкантами, певчими. Шествие замыкали повозки с любимыми псами хозяина. Сбегавшихся на это зрелище зевак удивляло, что все актеры были, как бы, „на одно лицо“. Это об‘яснялось строгим приказом барина „всем стричься под скобку и красить волосы черной краской“. Блондинов в своей труппе Кологривов не терпел. Многие из друзей этого чудака интересовались, зачем он возит в столицу свой театр. „У меня на сцене, когда я приду посмотреть,—отвечал Кологривов,—все актеры и певчие раскланиваются и я им раскланиваюсь. К вам же придешь в театр, никто меня знать не хочет и не кланяется“. [105]

На ряду с этим, в Петербурге иногда давались исключительные по великолепию спектакли, в которых значительная роль отводилась искусно обученным крепостным актерам, мало чем отличавшимся от профессиональных артистов. При устройстве в 1822 г. на мызе Рябово, под Петербургом, пышного праздника, данного В. А. Всеволожскому его родными и друзьями, была поставлена опера-водевиль Хмельницкого „Проезжий“, „розыгранная,—по словам современника,—собственными актерами помещика так хорошо, как нельзя было ожидать“. [106]

С участием крепостных артистов ставились и живые картины. Кн. Дондуков обставлял их „царской роскошью“. Весь великосветский Петербург стремился в его театр посмотреть на славящихся своим изяществом дондуковских крепостных красавиц.

До нас дошло мало имен крепостных актеров домашних петербургских театров. Лишь юный Пушкин обессмертил в своих стихах первую актрису крепостного театра Варфоломея Толстого, Наталию. Как рассказывает Гаевский, около 1815 г. „у одного из царскосельских жителей, В. В. Толстого, был домашний театр, на котором играла труппа, составленная из крепостных людей. Подобные затеи,

для которых сгоняли „от матерей, отцов отторженных детей“,— была тогда не редкость и царскосельский любитель театра не представлял в этом случае исключения. Лицеисты посещали его спектакли, на которых, вместе с другими посетителями, засматривались на первую любовницу доморощенной труппы, Наталью, которая, однако же была плохою актрисою“.[107] Такова же была оценка красавицы и юным Пушкиным:

Ты пленным зрителя ведешь
Когда без такта ты поешь,
Недвижно стоя перед нами,
Поешь — и часто не в-попад...

. . . .

Увы, другую-б освистали!
Велико дело красота!
О, Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свете суета.

Однако, содержание подобных домашних театров поглощало огромные суммы; поэтому такую роскошь позволяли себе лишь знатные вельможи. Начиная же со второй четверти XIX века крепостной театр почти вовсе исчезает. Об‘яснение этого явления надо искать в огромных сдвигах, происшедших в это время в экономическом строе России. Крепостной театр, продукт исключительно феодально-крепостнической эпохи, построенный на эксплоатации безвозмездного труда, больше существовать не мог.

Когда, в точности, исчез в Петербурге крепостной театр, установить трудно. Лишь детальное изучение архивов домовых контор петербургского дворянства сможет дать на это, исчерпывающий ответ. По этому вопросу существует, однако, весьма ценное свидетельство самого Николая I. В 1844 г., на одном из совещаний Комитета об устройстве „сословия дворовых людей“, Николай сказал, что „театральные труппы, оркестры и пр., теперь везде уже почти вывелись или выводятся. В Петербурге, сколько знаю, это есть уже только у Юсупова и Шереметева; у последнего, впрочем, не по вкусу, а потому, что он не знает, куда с этими людьми деваться“.[108]

Таков был конец крепостного театра в Петербурге. Но крепостные артисты в столице не исчезли; часть их вошла в состав трупп императорских театров. В то время дирекция нуждалась в музыкантах, в которых был большой недостаток. Это об‘яснялось тем, что „вольных“ музыкантов в Петербурге тогда не было. Между тем, театральное училище выпуск молодых сил почти прекратило; иностранцы же обходились слишком дорого. Поэтому когда в начале XIX века после-



довал, как было отмечено, целый ряд разорений виднейших дворян, театральная дирекция воспользовалась этим для приобретения у разорившихся господ их крепостных оркестров, которые и вошли в состав трупп столичных театров.

В списке дирекции за 1804—810 г.г. уже значится длинная „выпись“ — „состоящих в подушном окладе служителей Дирекции, как-то: капельдинеров, актеров, музыкантов, парикмахеров и портных“. Как сообщает Н. Дризен, эти музыканты получали жалованья 216 руб. в год, квартиру казенную в 100 руб., 6 саженей дров и 14 фунтов свечей, итого содержание в размере 359 руб. 20 коп. в год. Капельдинеры получали на 8 руб. 70 коп. меньше.[109]

Однако, положение крепостного артиста с переходом его от помещика к театральной дирекции отнюдь не изменилось. Он продолжал оставаться безответным рабом нового хозяина, несмотря на то, что, по закону 17 декабря 1817 г. об „исключении артистов и других театральных служителей из подушного оклада“, все лица, служащие при театрах, от крепостной зависимости освобождались. Не взирая на это, театральная дирекция всех их продолжала считать своей полною собственностью.

В 1828 г., театральною дирекциею был приобретен у обер-шенка двора Чернышева оркестр из 27 человек за сумму в 54.000 руб., то-есть из расчета 2000 руб. за человека. Оказалось, однако, что музыканты эти в оркестре „не игрывали“ и „играют худо“. Даже инструменты графского оркестра были признаны негодными. Часть музыкантов пришлось поэтому отдать в „ученики“, остальных в „турецкую музыку“; некоторых посадили в нотную контору переписывать ноты. Содержание им было назначено, в зависимости от обязанностей и „дарований“, в размере от 250 до 500 руб. в год. Они пользовались казенными квартирами в одном из флигелей Аничкова дворца, отоплением и освещением. Семейные получали прибавку в 50 рублей. При столичной дороговизне жизни это было весьма скромное вознаграждение, так как „вольные“ оркестранты получали от дирекции до 1000 рублей.

Материальное положение бывших чернышевских крепостных было столь тягостно, что они осмелились даже обратиться к министру двора Волконскому с отчаянной мольбой: „Сиятельнейший князь! Милостивый Государь! Воззри милосердным оком на бедных и прими под покров несчастных“... Однако, и после этого значительных перемен в судьбе их не последовало.

В 1829 г. состав оркестра дирекции пополнился еще десятью музыкантами гр. Сологуба. По проверке, однако, опять оказалось, что „ни один из них не может быть определен в оркестры“. Четверо были определены бутафорскими помощниками, с жалованьнем в 300 руб., а остальные хористами, с окладом в 250 рублей. Приобретенные дирекцией в следующем году 13 крепостных музыкантов петербургского помещика Афросимова также оказались пригодными лишь в качестве хористов. За 13 музыкантов было уплочено 24.000 руб., то-есть около 2000 руб. за человека. Видимо, это была обычная цена крепостного музыканта.

С переходом на службу в дирекцию, крепостной артист должен был работать с утра до ночи. Утро проходило в репетициях, днем занимались „усовершенствованием себя в искусстве“, а вечером играли в театре. Заработать на стороне, при таких условиях, было совершенно невозможно, что еще усугубляло безвыходность положения. И несчастный музыкант нередко искал утешения в вине.

В число таковых попал гобоист Черников, не являвшийся на службу в декабре 1833 г. в течение трех дней. Из своих странствий он вернулся „совершенно без одежды“. На допросе Черников показал, что „по молодости лет он был завлечен посторонними людьми в развратную жизнь и, будучи в нетрезвом виде, лишился своей одежды, оставленной в разных трактирах, а именно: плащ у проживающего у Синего моста в подмастерьях у мастера Мильса — Карла Иваныча, жилет, манишка и галстук в царицынском трактире, брюки в Екатерингофской ресторации, а казенный театральный гобой в трактире „Отель дю-Нор“... Инструмент заложен у маркера Ивана за 30 руб., а брато денег не более 14 руб., остальные все проценты“.

Другой музыкант, Шариков, найденный однажды, в „безобразно пьяном виде“, был посажен под арест в Большом театре. После этого его отправили в часть „наказать там розгами“, с предупреждением, что если он еще раз будет замечен в неприличном поведении, то будет тотчас исключен из дирекции и отдан в солдаты. [110] В 1833-34 годах, „за нетрезвое поведение и ослушание по должности“, подверглись в полицейской части наказанию розгами трое бывших афросимовских музыкантов. [111]

Такова была доля крепостного артиста и после того, как крепостной театр перестал существовать.

Дворяне, не имевшие средств для содержания собственного театра, довольствовались хором певчих. Такие хоры были обязательны при прогулках, на лодках, за городом. Свой хор также пел в домашних церквах столичного дворянства. Среди крепостных церковных хоров когда-то особенно славились шереметевские певчие. Но со смертью Н. П. Шереметева слава хора стала меркнуть. Опекуны молодого наследника так мало им интересовались, что к 1820-м годам, как рассказывает Г. Ломакин, шереметевские певчие уже едва знали ноты. И если „старший" сбивался, то тотчас останавливался весь хор.

Лишь при Д. Н. Шереметеве были приняты меры к восстановлению былой славы шереметевского хора. Из украинских имений были выписаны свежие голоса, которых заставили пройти большую подготовку. „Спавших" же с голоса отправили на родину, вознаградив 50 руб., или же оставили при фонтанном доме в качестве прислуги. Наиболее выдающиеся певчие нового шереметевского хора сделали впоследствии большую артистическую карьеру. Однако, на все мольбы их о выдаче вольных Шереметев отвечал неизменным отказом. Какие-то знатные иностранцы, предложившие однажды Шереметеву огромную сумму за выкуп его певчих, также получили отказ. „Вы правы, — ответили иностранцы, — эти люди не имеют цены". [112]

В тридцатых годах пользовался также большой известностью хор Дубянского. Потомок несметного богача, любимого духовника императрицы Елизаветы Петровны, Дубянский жил на Фонтанке, против Аничкова дворца, в своем роскошном доме. В его домовой церкви собирались любители церковного пения послушать знаменитый хор, состоявший из 50 прекрасно подобранных голосов. Солисты этого хора учились чуть ли не у Галуппи или у самого Сарти. Среди них особенно славился солист „Фриц", в действительности камердинер Дубянского „Федька". Как передает, однако, Ю. Арнольд, исключительная манерность его исполнения изобличала полную безвкусицу и непонимание пения, как самого владельца хора, так равно и всего восторгавшегося хором аристократического Петербурга.

„Однажды с матушкой мы были у всенощной в этой церкви, — рассказывает Ю. Арнольд, — чтобы послушать знаменитый хор Дубянского и прослушать тенора Фрица. Приехав домой, я обратился к матушке с вопросом: „А зачем же больного Фрица заставляют петь? Ведь ему трудно и больно". —

„Да кто же тебе сказал, что он болен? — возразила матушка. „А как же, maman, разве ты не слыхала, как Фриц все охал, да всхлипывал и стонал; все ох, ох, ох!“—И я запел, подражая Фрицу: „Све-е-е-ете-е, ох! ти-и-и-ох-ох! хииииий, ох!“ [113]

Помимо обязательного хора, состоятельный дворянин стремился обзавестись также домашним оркестром, игравшим на вечерах и балах. Иногда его одолживали родным и друзьям. Но это бывало редко; считалось, что музыканты, играя часто „у чужих“—„портят свою нравственность и теряют искусство“. Музыканты же, наоборот, очень любили играть у посторонних, так как их там кормили хорошим ужином. „Добрые господа“ даже жаловали на „ублаготворение“ оркестра две „десятки“, то-есть двадцать рублей, которые на следующий день распивались в соседнем трактире.

Оркестры Строгановых и Нарышкиных славились своими виртуозами, на обучение которых их господа не жалели денег. В 1813 г. в Петербург переехал, со своим знаменитым домашним оркестром, московский богач, тайный советник П. И. Юшков. В его известном по всей России симфоническом оркестре было 22 музыканта, причем все они были солистами. Юшков не жалел на свой оркестр никаких средств. Лучшие музыканты того времени давали юшковским крепостным уроки, получая по 25 руб. в час. Бальный оркестр Юшкова был единственным в своем роде. Перед началом танца им надо было лишь „задать мотив“, после чего тотчас же следовало стройное исполнение заказанного танца всем оркестром. Ромберг, Лафон, Львов и другие виртуозы своего времени просиживали целые ночи подле юшковского оркестра, восторгаясь блестящими импровизациями „первой скрипки“, прославленного Ивана Григорьевича, имевшего все данные для того, чтобы на Западе стать европейской знаменитостью. [114]

Дворяне со средним достатком также стремились обзавестись „собственным“ оркестром. Поэтому в столице их было множество: в газетах того времени постоянно встречаются публикации об их продаже.—„Продаются 8 человек музыкантов, не старее от роду каждому 20-ть лет, — гласит одно из подобных об‘явлений,—кои играют и в вокальной и в инструментальной музыке. Желающие купить, могут узнать обстоятельнее у живущего в Преображенском полку, в Офицерской улице, в доме Демидова, у действительного статского советника Чихачева“.

Дворяне победнее, за отсутствием оркестра, довольствовались своим лакеем, обученным играть на „скрипице“, для

увеселения прогулок хозяина на лодке. „Продается человек 25 лет, большого росту, умеющий писать и играть на скрипице и годный в лакейскую должность, — читаем мы в современной публикации.—Видеть его и о цене узнать на Галерном дворе, в Англинском трактире у г. Фавля“. [115]

Но самым замечательным явлением того времени была роговая музыка — продукт исключительно крепостной эпохи. Изобретена она была в середине XVIII века, а в начале следующего столетия в Петербурге уже насчитывалось девять подобных оркестров, не считая двух императорских. Особенно славился в столице хор камергера Вадковского, состоявший под управлением искуснейшего музыканта Силы Дементьева Карелина. Вадковский не жалел денег на усовершенствование своего хора, специально заказывая для него инструменты в Москве.

В роговой музыке, каждый рог давал лишь один звук, высота которого находилась в зависимости от длины рога. Самая длинная труба достигала $8^1/_2$ аршин длины, а самая малая $6^1/_4$ вершков. Для каждого тона имелось по два инструмента, так что полный оркестр состоял приблизительно из 90 человек. Обычно, однако, число их не превышало сорока. Лишь роговой хор Александра I состоял из 300 человек. Иногда один музыкант совмещал игру на двух рогах. В таком случае от него требовалось совершенно исключительное внимание, так как трубач не мог ни на минуту спустить глаз со своих нот, отсчитывая мысленно паузы, после которых ему следовало вступать.

О том, как пополнялся состав роговых хоров, рассказывает Фабр.—„Как-то однажды,—пишет он,—я видел в апреле месяце целую толпу выписанных из деревни парней для составления рогового хора. Их отдали в обучение учителю музыки Семеновского полка и вот в августе месяце я увидел уже этих мужичков превращенных в приличных молодых людей и очень верно исполняющих отрывки из Плейеля и Моцарта“. [116] — „Такая живая шарманка с ее эоловыми дуновениями внушала восторг,—писал о роговой музыке В. А. Сологуб.—Но какова же была участь музыканта, имевшего по рассчету свистеть в неизменную дырку неизменную нотку!“—Любопытно, что музыкантов рогового хора называли не именами, а той нотой, которая составляла весь их репертуар.—Рассказывают, что два члена такого диковинного оркестра попали в полицию. На вопрос, кто они такие, один отвечал: „Я нарышкинский Ц“, другой—„Я нарышкинский Фис“.

Роговая музыка звучала так громко, что в безветренную погоду звуки прославленного нарышкинского хора, обычно раз'езжавшего в лодках по Неве перед домом своего владельца на Английской набережной, слышны были в Коломягах и в Лесном. Ночью же звуки рогов, в особенности, если играли на возвышении, разносились на 7-8 верст от столицы [117].

На балах роговой хор ставили близ оркестра где-либо за занавесом. В этом случае хор лишь аккомпанировал оркестру, разыгрывая полонезы, менуэты и контрдансы. Такое музыкальное сочетание производило поразительный эффект. Как высоко стояло искусство роговой музыки видно из слов известной художницы Виже-Лебрен, слышавшей мастерское исполнение роговым оркестром увертюры из оперы „Ифигения". Роговая музыка напоминала, по словам современников, „игру на нескольких больших церковных органах". Звуки этой „исполинской свирели поистине восхитительны", — писала Виже-Лебрен, изумляясь также и тому,—„как все эти отдельные звуки могли сливаться в одно чудное целое и откуда бралась выразительность при столь механическом исполнении".

Сколько палок, однако, обломали на спинах этих „Федек" и „Прошек", чтобы добиться от них исполнения „Ифигении" на восьмиаршинных рогах! Дюкре, оставивший нам подробное описание русской крепостной России, сказал о роговой музыке, что она „может исполняться лишь рабами, потому что только рабов можно приучить издавать всего лишь один звук".

Увы, и я, и я рожден
В последней смертной доле,
Природой чувством наделен,
Столь гибельным в неволе.

Крепостной поэт Иван Сибиряков.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

С Петербургом XIX века связаны имена трех замечательных русских крепостных художников — Кипренского, Тропинина и Воронихина. Безрадостной жизни Тропинина в Петербурге уделено место во 2-ой части моей работы „Пушкинский Петербург". [118] Кипренский же, по существу, совсем не испытал на себе гнета крепостной неволи. Такова же была счастливая судьба А. Н. Воронихина. По ироническому выражению Вигеля, „он был, вероятно, предназначен судьбой для сапожного ремесла". Однако, исключительный талант Воронихина открыл ему путь к вершинам искусства и его имя, по праву, занимает одно из первых мест в истории русской архитектуры.[119]

К работавшим в Петербурге крепостным художникам надлежит отнести целую династию шереметевских крепостных Аргуновых, давших России шесть художников. Наибольшее значение среди них имел Иван Аргунов, выдающийся живописец конца XVIII века, чью школу впоследствии прошли художники Головачевский, Лосенко и Саблуков. Сам он закончил свое художественное образование у прославленного портретиста своего времени Георга Грота. Между тем Аргунов, этот блестящий русский художник, создавший замечательную портретную галлерею своих современников, всю жизнь оставался „всенижайшим рабом графа-государя" Шереметева. „Ваше сиятельство, премилосердный государь, — должен был писать он в своих письмах к Шереметеву,—пад у ног ваших с раболепностью моею". И лишь его дочь, во внимание к особым заслугам отца, получила в 1807 г. вольную при замужестве с корнетом Кирасирского полка Гвинеевым.

Среди графской дворни Аргуновы все же занимали привиллегированное положение. Сын Ивана Аргунова, Николай, „за написание" графского портрета, получил в 1798 г. очень круп-

ную для него сумму—80 рублей.[120] XVIII век вообще очень низко расценивал труд художника. Даже живописец с большим именем имел более, чем скромный заработок. Так, знаменитый Левицкий, обессмертивший Екатерину II в ряде произведений, получал от 300 до 700 руб. за портрет.[121]

Высокие цены платились лишь иностранцам. Художник Тончи получил в 1803 г. за портрет Н. Шереметева 1080 рублей.[122] Скромный датский художник Патерсон расценивал свои виды Петербурга, исполненные маслом, по 750 рублей.[123] Портреты же прославленной кисти Рослэна расценивались художником в 4.000 рублей.[124] Из хранившегося в собрании Гонкуров „Дневника“ Лагрене-Старшего видно, что наиболее крупные заработки художника относятся ко времени пребывания его в России, где за одно лишь „Воскресение Христа“ он получил 5000 ливров. Кроме того, Лагрене получал жалованье в размере 10.000 ливров в год и пользовался казенной квартирой, отоплением, освещением, выездом и т. д.[125] В начале XIX века миллионное состояние своими портретами составил себе в России знаменитый английский художник Джордж Дау. Как сообщают доктор Грэнвилль и маркиз Лондондерри, ему платили по 1000 руб. с „головы“. А эти „головы“ он рисовал сотнями.[126]

Наряду с такими крупными заработками иностранцев, русские художники голодали. Мы знаем в какой бедности умер знаменитый скульптор Шубин, в какой нужде жил блестящий живописец Левицкий. Еще тяжелее было, конечно, материальное положение крепостных художников, даже таких выдающихся, как Аргуновы, принадлежавшие прославленным меценатам Шереметевым.

Архитекторы Павел Аргунов, Алексей Миронов и Григорий Дикушев получали по распоряжению Н. Шереметева 40 руб. в год. Живописцы С. Калинин и К. Фунтусов получали по 30 рублей. „Театрального живописного художества“ ученику Г. Мухину платили 30 руб. в год.

Известный живописец Николай Аргунов получал 25 руб. жалованья и столько же „на платье“. Впоследствии он стал получать 40 рублей.[127] Однажды, по распоряжению графа, ему выдали 50 руб. на покупку шубы. В виде особой милости к нему был приставлен крепостной мальчик для „терения красок“. И только в 1806 г., когда Николай Аргунов остался единственным представителем своей талантливой семьи, Н. П. Шереметев, в знак особого расположения, пожелал уравнять его в окладе со своим всесильным камердинером Федором Кирюшенковым. Но это оказалось „совершенно невозможным“,



так как графский лакей получал, как выяснилось, „не в пример прочим". Поэтому художнику было положено высшее жалованье крепостного—300 руб. в год. Когда была разбита в буфете одна из находившихся „под смотрением" Аргунова тарелок, художник был оштрафован на 100 рублей. Только после смерти „Креза-Младшего" Аргунов получил право свободного жительства, с освобождением от уплаты оброка. Такое же разрешение получил и художник Зацепин.[128]

Шереметевы, как уже было отмечено, ревниво охраняли свои „государские" права на крепостных, в особенности на тех из них, кто проявлял особые таланты, льстившие тщеславию их господ. Подобно Аргуновым, не добился вольной и архитектор Миронов, несмотря на его старость и непригодность к дальнейшей службе.[129] Однако, случаи отпуска Шереметевыми на волю своих крепостных художников все же бывали. В 1803 г. Н. П. Шереметев дал „свободу вечную" своему „домовому служителю" Ивану Петрову Александрову, за „таланты", проявленные им в качестве ученика Академии Художеств.[130] На ряду с этим, „архитектурного ученика Д. Головцева,—гласил в 1808 г. приказ Н. П. Шереметева,—по востребованию из Павловска, за сделанное им буйство и пьянство, наказать розгами и употреблять в дворовую работу, с производством меньше дворового оклада, то-есть тюремное содержание. По залечении сделанного наказания отдайте его на год в смирительный дом". Впоследствии Головцев был отдан в рекруты.[131]

Этот приказ относился уже к концу жизни Н. П. Шереметева, когда вследствие болезни он стал крайне раздражителен. Как сообщает В. Станюкович, прежде всячески избегавший телесных наказаний, Шереметев, в последний период своей жизни, начал прибегать к ним, особенно в случаях пьянства или буйства своих „подданных"[132].

Несмотря на известные привиллегии, связанные со званием художника, его, по обычаю того времени, секли, меняли, дарили и продавали, наравне с другими дворовыми людьми. Лишь цена на них, при продаже, была значительно выше обычной. Действительная статская советница Свистунова, за своего крепостного художника Михаила Ширяева, расписывавшего живописью Большой каменный театр, просила в 1827 г. с театральной дирекции 1500 рублей. Но театральное начальство, как сообщает Н. Дризен, не сойдясь в цене, от этой покупки отказалось.[133] Высоко, очевидно, расценивал своего крепостного живописца Ивана Малышева и надворный советник Сал-

тыков, предлагавший в 1796 г. 300 руб. вознаграждения за одно лишь указание местопребывания этого, сбежавшего от своего владельца, „ученика проф. Лампия“.[134]

Если даже Шереметевы так мало ценили талант Аргуновых, то как тяжело было положение крепостных художников, принадлежавших провинциальным невежественным помещикам. Подобный барин не признавал никакой разницы между своим живописцем-художником и лакеем. Так, в доме гр. Моркова талантливейший живописец своего времени Тропинин стоял с салфеткою в руках за столом своего господина, наряду с прочими лакеями. Поэтому вполне обычным явлением была публикация в „С.-Петербургских Ведомостях“ некоего „коллежского советника и кавалера Петра Мартынова“, объявлявшего о продаже своего крепостного живописца, „которой пишет образа и всякого рода картины, с женой в 30 лет, могущего быть в лакейской и других домовых должностях и которой знает читать и писать“.[135]

Между тем, среди крепостных художников встречались выдающиеся таланты. К таковым относится крепостной некоего помещика Корнилова Александр Поляков, отданный своим владельцем в 1822 г. „на выучку“ к известному художнику Дау, за плату 800 руб. в год. Английский художник, писавший в это время портреты участников войны 1812 г. для галлереи Зимнего дворца, поручал Полякову рисовать аксессуары, а иногда и лица на портретах. Поляков настолько усвоил себе манеру своего учителя, что несколько повторений его портретов, исполненных крепостным художником, Дау продал за свои. По этому поводу Обществом поощрения художников было даже подано заявление о „предосудительных действиях“ иностранного портретиста, заставлявшего Полякова „в неизвестности трудиться для выгод и чести другого“. Быстрота работы Полякова была такова, что, как рассказывают очевидцы, художник написал в течение шести часов эскиз поясного портрета Мордвинова. Поляков получил в 1833 г. звание свободного художника, „во внимание к известным трудам его“, но два года спустя он умер.[136]

Обстоятельства жизни крепостного скульптора Бориса Орловского сложились более благоприятно. Его имя (опущенное почему-то Е. Коц в ее обстоятельной работе, посвященной русской „крепостной интеллигенции“) имеет для Ленинграда тем большее значение, что его произведения и поныне украшают улицы и площади города.

Отец художника, по фамилии Смирнов, дворовый человек некоей Мацневой, был продан в 1801 г. вместе с семьей, „без земли на своз“, тульскому помещику, бригадиру Шатилову. Новый владелец отдал сына своего дворового в обучение к одному московскому „мраморщику“. Вскоре мальчик был переведен в Петербург в мастерскую известного мраморного мастера Трискорни. От товарищей, называвших его по месту рождения Орловским, он получил свою будущую фамилию, оставшуюся за ним навсегда. Бюст Александра I, работы молодого скульптора, обратил на себя всеобщее внимание и Орловский был принят в Академию Художеств. Его владельцев убедили дать своему талантливому крепостному вольную. Отправленный для усовершенствования в Италию, Орловский провел там 7 лет, усердно работая в Риме в мастерской Торвальдсена.

Вызванный в 1825 г. в Петербург, Орловский выполнил здесь ряд ответственных работ. Его резцу принадлежат памятники Кутузова и Барклая де-Толли перед Казанским собором, статуя ангела на Александровской колонне, фигуры гениев на Московских триумфальных воротах и ряд других работ.

Орловский умер в расцвете сил в 1837 году. Не обладая крупным талантом, он отличался исключительной добросовестностью и трудолюбием. „Оставьте ваши шалости, — говорил он своим ученикам в Академии Художеств, — любите свое искусство. Когда я учился, то в серых, модных шинелях не ходил, а носил тиковый халат. Отец мой оставил мне в наследство десять копеек медью, две рубахи и икону; но через труд и старание, не обладая большим талантом, я достиг того чего достигают немногие... Торвальдсен говорил: „К небрежности и лени привыкнуть можно очень скоро; сперва мы отстегиваем у фрака одну пуговицу, потом позволяем себе отстегнуть другую и так поступаем далее, пока совершенно не снимем фрака.“ Повторяю вам, занимайтесь не для медалей; за наградами не гонитесь, пусть они за вами гоняются“. [137]

Крепостная интеллигенция, попадая нередко в руки жестоких и невежественных самодуров, подвергалась возмутительному насилию и издевательствам. Как рассказывает А. Пеликан, один талантливый крепостной, учившийся в Академии Художеств, собрал по подписке среди своих доброжелателей, требуемые для выкупа 3000 рублей. Но когда он принес их своему барину, тот объявил, что передумал и согласен дать вольную лишь за 5000 рублей. Об этом доложили президенту Академии Художеств вел. кн. Марии Николаевне; она написала

жадному крепостнику любезное письмо с просьбой дать вольную за прежнюю сумму, так как собрать бо́льшую оказалось невозможным. Письмо это принес сам художник. Прочитав его, барин сперва отправил несчастного художника на конюшню, велев дать ему 25 розог за то, что он осмелился вмешать в свои дела столь высокопоставленную особу, а затем поспешил исполнить желание великой княгини.[138]

Один из бывших шереметевских крепостных, профессор А. Никитенко, так описал свою встречу в 1836 г. с одним крепостным художником в доме гр. Головина в Петербурге. „Здесь мы нашли, — пишет он, — мальчика лет четырнадцати, который в маленькой комнатке срисовывал копию с картины Рубенса. Копия прекрасная: она почти кончена. Это крепостной человек гр. Головина. Я говорил с ним. В нем определенные признаки таланта; но он уже начинает думать о ничтожестве в жизни, предаваться тоске и унынию. Граф ни за что не хочет дать ему волю. М-в (приятель Никитенко) просил его о том тщетно. Что будет с этим мальчиком? — Теперь он самоучкою снимает копии с Рубенса. Через два или три года он сломает кисти, бросит картины в огонь и сделается пьяницею или самоубийцею. Граф Головин, однако, считается добрым барином и человеком образованным... О Русь! О Русь!“[139]

О подобном же случае рассказывает в своих воспоминаниях скульптор Н. А. Рамазанов. Как передавал ему академик живописи Е. Васильев, у помещика Бл. был крепостной живописец Поляков, учившийся у отца Васильева и за свои успехи в живописи получивший от Академии медаль. Его портреты уже высоко расценивались. Однако барин, сначала обещавший было освободить его, не сдержал слова и, по окончании учения, этот высокоталантливый и образованный человек должен был сопровождать на запятках барскую карету и выкидывать подножку экипажа перед теми домами, где висели картины его кисти. Поляков вскоре спился и пропал без вести.[140]

Крепостное искусство, давшее целый ряд талантливых художников, было значительно беднее в области литературы. Творчество крепостных поэтов не отличалось ни самобытностью, ни оригинальностью, являясь лишь бледным отражением идеологии господствующего класса. Имена их, в большинстве случаев, до нас не дошли.

Обычно, будущий поэт - самоучка, по счастливой случайности обученный грамоте, начинал с подражания общеизвестным образцам. Иногда его скромное творчество доходило до литературных кругов; случалось, что и сам поэт отваживался

представить плоды своей робкой музы на суд кого-либо из „олимпийцев“. Его снисходительно выслушивали, говорили ему „ты“, нисколько не скрывая своего пренебрежения к его „низкому званию“. К счастью, среди писателей находились люди, горячо сочувствовавшие скромным новичкам. Таковы были Жуковский, Дмитриев, Шишков и, в особенности, П. Свиньин и Б. Федоров. Хлопотам некоторых из них крепостные поэты всецело обязаны освобождением из под власти своих господ.

Однако, долгожданная воля не всегда приносила облегчение в судьбе поэта. Суровая нужда заставляла часто хвататься за первое попавшееся место кописта или приказчика в лавке и неуспевший окрепнуть талант погибал под непосильным бременем невзгод и лишений.

Из числа писателей „вышедших из низов“, большой популярностью пользовался в свое время Слепушкин. Он был крепостным человеком Е. Новосильцовой, урожденной гр. Орловой, сын которой погиб на известной дуэли с Черновым. Петербургский разносчик, бойко торговавший с лотка грушами, Слепушкин впоследствии снял лавочку в Ново-Саратовской немецкой колонии, под Петербургом, а в 1812 г. окончательно обосновался в селе Рыбацком по Неве. В 20-х годах начали появляться в печати его стихотворения и басни, которые благожелательный Пушкин читал „все с бо̀льшим и бо̀льшим удивлением“. Поэт принял живейшее участие в хлопотах по выкупу Слепушкина на волю. Но Новосильцова запросила за его отпускную 30.000 рублей. И лишь благодаря содействию кн. Юсуповой, собравшей на выкуп Слепушкина 3000 руб., он был, наконец, отпущен на свободу.

Критика благожелательно отнеслась к музе Слепушкина, требуя лишь, устами Сенковского, чтобы поэт дал поселянам почувствовать „поэзию скромного, но благородного их состояния, утверждая в них чувство довольства своею судьбою“. И „русский Гезиод“ стал усердно воспевать „безмятежность крестьянской доли“.

О как ты счастливо живешь,
Поселянин трудолюбивый.
Ты с пеньем соловья встаешь,
И, радуясь, спешишь на нивы;
Там до заката в ясный день,
Под голубыми небесами,
Ты веселишься за трудами.

Однако, став в 30-х годах владельцем кирпичного завода под Петербургом, Слепушкин изменил своей „благонамеренной“

музе. И, проезжая через городскую заставу, былой крепостной поэт, на вопрос: „Кто едет?“ — с гордостью отвечал: „Купец Слепушкин“.

Тем не менее стихи Слепушкина имели в свое время влияние на современников. Они сыграли решающую роль в судьбе другого крепостного—Егора Алипанова. „Раб“ секунд-майора Мальцова, плотник и столяр на его заводах, пленясь творчеством Слепушкина, он „стал тихо петь смиренный“ свой „ветхий уголок“. Но Алипанов рабски копировал образцы дворянской литературы XVIII века, вводя в свои стихи муз, зефиров, амуров, Геликон и Аполлона. Он перелагал также Пушкина, подражал Жуковскому. Подобно Слепушкину, его крестьяне „весело трудились“. Но надо все же признать, что в стихах Алипанова впервые в русской литературе зазвучала „поэзия труда“, первая хвалебная песнь рабочего своему заводу.

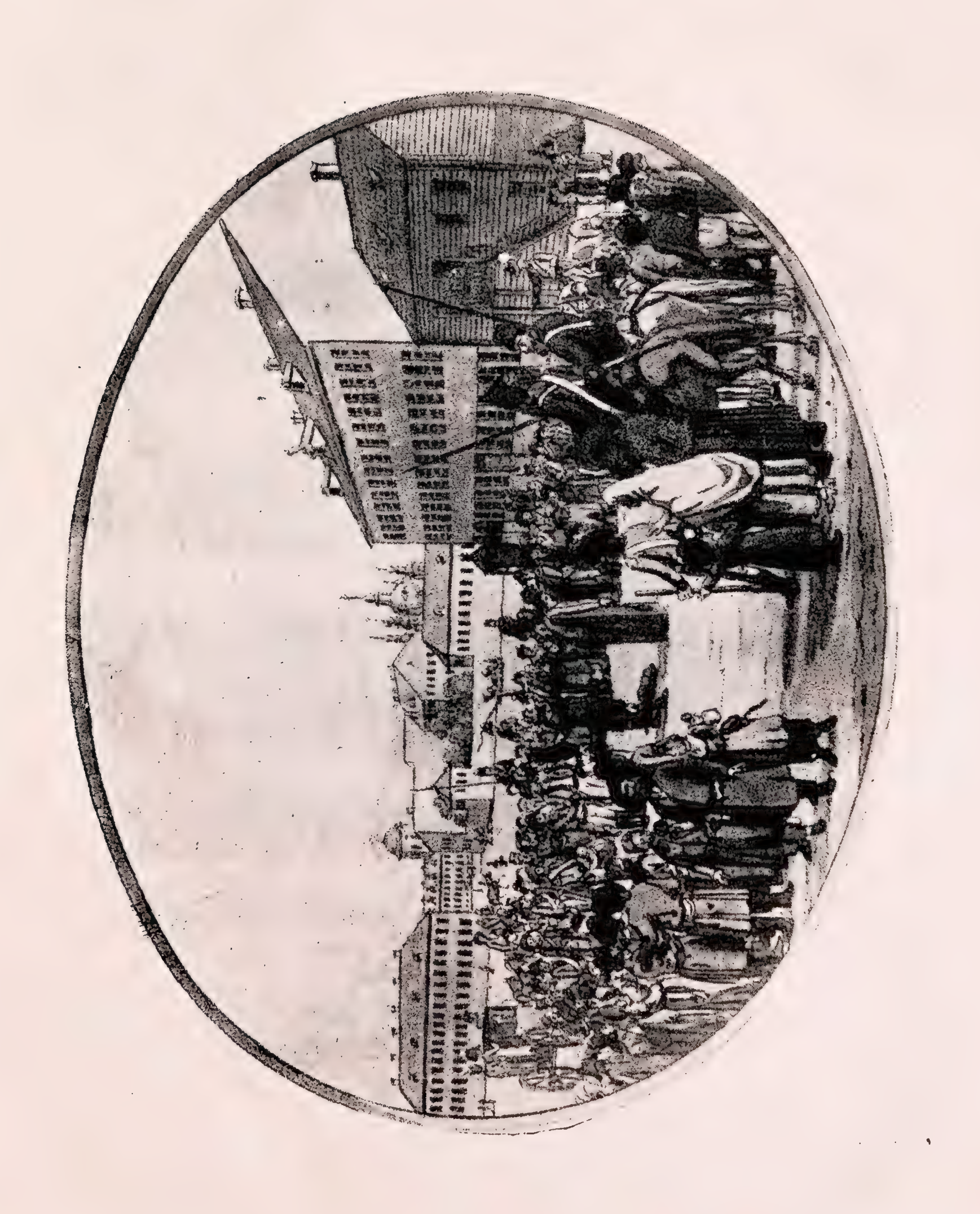
Люблю смотреть работ стремленье,
Стоя в заводской мастерской...
Там пламенем дышит горн огромный,
И млатов стук, как гром, гремит.
Река огня в отверстье льется,
Мехов гул томный раздается
И озеро огня стоит.

Поэт был вскоре увенчан Российской Академией „за похвальные в словесности упражнения“, продолжая, однако, оставаться крепостным человеком Мальцова. Лишь благодаря настоятельным хлопотам Академии, он, наконец, получил свободу.

Несмотря на ограниченность дарования Алипанова, ему принадлежит несомненная заслуга введения в русскую лирику неизвестной дотоле тематики, вошедшей в поэзию лишь сто лет спустя, после Октября.

Обстоятельства сложились так, что жизненные пути Слепушкина и Алипанова соединились. Последний женился на дочери Слепушкина. Но „заботливость о многочисленном семействе и непостоянство счастья жизни изменили его характер,—свидетельствует современник,—на лице видна глубокая задумчивость, а в разговоре безнадежность на счастье“. Алипанов умер в середине 50-х годов и похоронен в Павловске, но скромная могила поэта не уцелела.

К числу крепостных поэтов принадлежит также Иван Сибиряков. Его незатейливое творчество привлекло все же к себе внимание общества. Ряд виднейших представителей русской литературы—Жуковский, Вяземский, братья Тургеневы, при-



нялись за энергичные хлопоты об освобождении поэта. Однако его владелец, рязанский предводитель дворянства Д. Маслов, потребовал за освобождение своего кондитера неслыханную сумму в 10.000 рублей. Но это не остановило покровителей Сибирякова, собравших по подписке требуемую помещиком сумму. Сибиряков вскоре стал „вольным".

Прослужив некоторое время в одном из петербургских департаментов, под начальством А. И. Тургенева, Сибиряков перешел в 1822 г. на службу в Александринский театр, где и служил сначала „актером российской труппы", а потом суфлером и переписчиком. Свыше 20 лет состоял Сибиряков на службе в театральной дирекции, предав забвению свое былое увлечение поэзией. Нужда, семейные раздоры, довели его, под конец жизни, до такой „раздражительности характера", что в дирекции возник даже вопрос „не подвергается ли Сибиряков, по раздражительности своей, и некоторой степени расстройства рассудка". — Такова была безрадостная судьба этого крепостного поэта, скончавшегося в больнице, в Петербурге, в 1848 году.

Небольшая группа этих крестьянских поэтов, затертых невзгодами жизни, все же не исчезла бесследно. Они также внесли свою скромную лепту в русскую поэзию.[141]

Крестьянскому искусству—художникам, артистам и поэтам был посвящен, после революции, ряд исследовательских работ. Следует также уделить внимание и вышедшим из народа самоучкам, самоотверженно отдавшим свои силы служению науке и технике.

Из числа таких самоучек, проживавших в Петербурге, чья судьба характерна для эпохи, надо прежде всего отметить крепостного ярославской помещицы Скульской, даровитого Семена Власова. Сначала пастух, затем рабочий фабрики Грейсона, он добился известности, представив в 1811 г. модель изобретенной им гидростатической машины для подъема воды. Этим, вышедшим из „низкого сословия" изобретателем, заинтересовался Александр I, приказавший запросить Скульскую об условиях, на которых она согласна дать своему крепостному свободу. Скульская потребовала 5000 руб., каковые, по ее мнению, Власов мог бы „по своему художеству", заплатить сам. На это последовало повеление дать Власову свободу, а Скульской выдать рекрутскую квитанцию. Осенью 1811 г. Власов был принят в число воспитанников Петербургской медико-хирургической академии, по фармацевтической части.

Благодаря своим способностям к химии, Власов, оставаясь студентом, был в то же время назначен лаборантом Академии.

В течение 1814—15 годов Власовым был сделан ряд интересных открытий; им был предложен совершенно новый способ добывания серной кислоты, окрашивания тканей, приготовления некоторых красок. Он нашел также средство для усиления действия электрических машин и замены сложных паровых машин более простыми. Но реализация сделанных им открытий требовала времени и средств; между тем, сданные им в министерство народного просвещения проекты и чертежи лежали там без движения. Обеспокоенный этим автор тщетно засыпал министерство ходатайствами—уделить внимание его работам; ими никто не заинтересовался. Внезапная смерть его, на 32-м году жизни, положила конец его разочарованиям. Труды этого крепостного изобретателя так и не были никогда напечатаны.[142]

Печальная участь ожидала также и крепостного Д. Н. Шереметева Михаила Сутырина, создавшего себе имя изобретенной им в 1822 г. „судовзводною машиною“. Эксплоатация его машины, впервые построенной на Волге, обогатила некоего французского предпринимателя, обвинившего, тем не менее, Сутырина в „подделке“. Машины изобретателя были по суду описаны и погибли, его же конкурент нажил на этом деле свыше 300.000 рублей.

Совершенно разоренный, Сутырин добился, наконец, восстановления своих прав. Выпросив затем из конторы своего владельца, Шереметева, 5.000 руб., он построил на Неве „пассажбот“, применив на нем особый изобретенный им механизм, действовавший путем закидывания якорей. Летом 1822 г. этот „пассажбот“ начал проводить суда между Петербургом и Шлиссельбургом, приобретя у „коммерчествующей публики весьма уважительное доверие“. „Пассажбот“, хотя судно и не быстроходное, имел то преимущество, что мог всюду приставать, тогда как пароходам Берда, прибывавшим в Кронштадт, не разрешалось продвигаться дальше определенной зоны из опасения „огненного извержения“. Изобретение Сутырина имело для своего времени несомненно большое значение, заменив собою каторжный труд бурлаков. Тем не менее оно не вошло в употребление.—Между тем кредиторы Сутырина ждать не желали и он вынужден был в 1823 г. продать свое изобретение. Но покупатели не заплатили ему следуемых денег и Сутырин, боясь подвергнуться личному задержанию за долги, предпочел скрыться. О дальнейшей его судьбе сведений не сохранилось[143].

К числу самоучек-изобретателей первой трети XIX века принадлежит также и Михаил Федоров, крепостной гр. Лаваль.

Он изобрел небольшой пароход особой конструкции, на котором совершил путешествие по всему Ладожскому озеру, прибыв в Петербург в июле 1836 года. Толпы народа собирались смотреть на самодельный пароход, стоявший у дачи Лаваль на Аптекарском острове; Федоров давал всем интересующимся объяснения, указывая, что пароход „весьма хорошо идет против течения“, материалы же по его сооружению обошлись всего в 500 рублей. А. Г. Лаваль купила этот пароход. Дальнейшая судьба его изобретателя мне неизвестна [144].

Весьма любопытна судьба другого крепостного изобретателя, Кирилла Соболева. Столяр костромского помещика, отставного капитана Макарова, он впервые обратил на себя внимание придуманной им механической пожарной лестницей. Слух о даровитом крепостном достиг Александра I, повелевшего петербургскому генерал-губернатору снестись с помещиком об отпуске Соболева на волю. Но Макаров запросил за его отпускную участок земли, принадлежавшей городу Любиму, Ярославской губернии. Когда же это домогательство, как незаконное, было отклонено, Макаров отказался от выдачи вольной крепостному изобретателю и лишь настойчивые требования властей побудили помещика отпустить Соболева на волю. За это владельцу его были выданы, по его требованию, три рекрутских квитанции, по числу „душ“ мужского пола, составлявших семью отпускаемого. Наконец 28 марта 1811 г. Соболев, вместе с женой и двумя сыновьями, получил свободу.

Однако, вскоре обнаружилось, что Макаров, не включив в отпускную тринадцатилетнюю дочь Соболева, стал требовать с него уплаты за нее оброка, угрожая, в противном случае, продать ее на сторону. „Кирилло Васильевич,—писал помещик своему бывшему крепостному,—ты шельмовским своим упорством опять забыл, что тебе надобно прислать за прошлый год оброк. Если ты не пришлешь по первой же почте, то дочка твоя будет запродана и выдана“. Об этом поступке Макарова было доведено до сведения Александра I, приказавшего немедленно потребовать от помещика отпускную дочери Соболева, объявив Макарову, что „если он с подобными правилами будет поступать в управлении прочими своими крестьянами, то его величество повелит имение его взять в опеку“.— Лишь после этого Макаров выдал девочке вольную [145].

Отпущенный же на свободу изобретатель усердно работал. В 1826 г. Свиньин, ревностный покровитель „отечественных самородков“, сообщал о новых изобретениях „известного рус-

ского механика". К этому времени в числе изобретений Соболева были: заводский духовой мех, полировальная машина, мельница на деревянных жерновах, наконец, „лодка, приводимая в действие тремя лицами, заменяющими десять гребцов". — „Все машины,—сообщал П. Свиньин,—можно видеть на практике в квартире Соболева, живущего по Мойке, между Полицейским и Конюшенным мостами, в д. Тирана, № 9". [146]

Безрадостную долю самоучек-изобретателей того времени лучше всего характеризуют слова одного современника, посетившего в 1820 г. некоего „страстного механика", проживавшего на Гороховой ул., „на чердаке, по грязной лестнице", в доме Таирова (где жил в 30-х годах А. С. Пушкин).— „Пламенная душа его, утомленная препятствиями и неудачами,—читаем мы, — ждет внимания, как иссохший цветок целебного дождика. Капля—и он расцвел паки или погиб на веки. Уже румянец пропал на щеках его, взор прежде светлый, исполненный огня, начинает тускнеть, наружность приемлет вид мрачный; в семействе его—не задолго пред сим мирном, счастливом—возникают неудовольствия—одним словом, бедный, он на краю пропасти". [147]

Я часто повторяю себе: здесь необходимо все разрушить и заново создать народ.

A. Custine. La Russie en 1839. Paris. 1843.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Как отметил один французский путешественник, в России „бить можно только людей известных классов и бить их разрешается лишь людям других классов“.—Били всех: и малолетних казачков и стариков-дворецких и „выездных“ великанов и талантливых живописцев.

„Я был не мало удивлен,—записал Р. Фор,—когда услышал впервые о том, что секли первую скрипку; это был талантливый молодой человек; но я вскоре привык; секли альта, баса, контрабаса. Это не волновало ни меня, ни даже их“.

У строгого барина „всякая вина была виновата“. У него „кто ступил—тот и провинился“. Старая поговорка гласила: „душа—божья, голова—царская, спина—барская“.—„Друг вынужден был бить друга,—рассказывал один французский врач,—родственник—родственника. Я даже скажу, что видели сына, принужденного бить отца“.—„Так как он ничем не располагает,—говорит в другом месте тот же автор,—так как он ни в чем не волен,—он ничем не дорожит: ни женой, ни дочерью, которых в любой момент может отнять у него каприз барина; ни своей землей, которая всегда может быть безнаказанно присоединена к барским владениям, ни своей родиной, где ему так горько живется. В его душе все темно и смутно, он не различает добра от зла, добродетель от пороков; отечество, семья—для него пустые слова“.[148]

Об исключительных, по своей суровости, мерах наказания, применяемых столичным дворянством, рассказывает английский врач Грэнвилль. При осмотре им Монетного двора, в Петропавловской крепости, в цехах, особенно вредных для здоровья, где обрабатывали ртутью серебро и сжигали шлаки, внимание Грэнвилля привлек жалкий вид рабочих. Как оказалось это были строптивые или непослушные слуги, присы-

лавшиеся сюда их господами, на короткий срок, для исправления, и работавшие тут под наблюдением особых надсмотрщиков. Работа в этих условиях была столь тяжела, что, как отмечает Грэнвилль, крепостные „необычайно редко дают потом повод для их вторичной присылки сюда“.[149]

Как безгранична была зависимость крепостного человека от своего господина, видно из следующего рассказа англичанина Скельтона, производившего в 1818 г. осушительные работы на Охте. Один рабочий, крепостной человек, обратился к нему с просьбой разрешить ему отлучиться к его барину, за 80 миль от Петербурга, чтобы испросить позволение вырвать больной зуб.—Оказалось, что без согласия своего господина крепостной не смел его удалить. Скельтон, на свой риск, дал ему свое разрешение.[150]—Известно, что господа неохотно разрешали своим крепостным удаление зубов даже тогда, когда это было необходимо, потому что отсутствие определенного числа зубов у рекрута препятствовало отдаче его в солдаты.

Власть дворянина распространялась, конечно, и на семейную жизнь его крепостного. Его женили, вовсе не спрашивая его согласия. Приводили невест и женихов и расставляли их по росту, затем записывали парами, по очереди, и лист тотчас же отсылали „для исполнения“ священнику. Трудно было ожидать, при подобных условиях, нормальных семейных отношений, чем отчасти можно объяснить ту „нравственную распущенность и разврат петербургской дворни“, о которых пишет в своих мемуарах немецкая путешественница Фанни Тарнов, посетившая Петербург в 1817 году.[151]

„Дворовые люди суть самое жалкое состояние в целом пространстве Российского государства,—такова характеристика дворовых, данная Пестелем.—Солдат, прослуживши 25 лет, получает, по крайней мере, по истечении сего срока свободу и избирает себе любое занятие. Дворовый же человек всю жизнь свою служит своему господину и ни на какую надежду права не имеет. Одна воля барина всю его участь составляет до конца его жизни“.[152]

По законам того времени, дворянин имел право за какую-либо провинность крепостного сдать его в солдаты. В Петербурге это случалось чаще всего в больших домах, с многочисленной дворней, где отсутствие одного или нескольких человек не имело значения. Из опасения побега, сдаваемого в солдаты об этом заранее не предупреждали. Ранним утром в дом неожиданно являлись два полицейских солдата, тут же забиравшие „назначенного в сдачу“. Несчастного вели в ближайшую по-

лицейскую часть, откуда, по оформлении документов, он отправлялся в канцелярию обер-полицеймейстера на Морской улице. Оттуда его передавали уже военным властям.

За небольшие проступки, с крепостным, обычно, расправлялись „домашними средствами“. По закону 1833 г. владелец имел право употреблять „домашние наказания и исправления“ по своему усмотрению, лишь бы только не было увечья и опасности для жизни. „Дворянин может бить своих крестьян или людей столько, сколько захочет,—отметил один иностранец.— Закон говорит лишь, что он не должен бить их до смерти; это совершенно похоже на времена Моисея. Если избитый умрет в течение ближайших 12 часов, вмешивается суд и дворянин может быть осужден, как убийца; но судебные власти могут быть умилостивлены: небольшие подарки, опущенные в руку судей, приезжающих на разбор дела и несколько стаканов водки, предложенной им с видом лестного уважения, побуждают их видеть вещи такими, какими они должны быть, то-есть доказывают им достаточно явственно, что дворянин не может быть виновным“.

По этому поводу А. Кошелев в своих записках отметил следующее красноречивое заявление некоего предводителя дворянства: „Если я увижу, что мой брат-дворянин зарезал человека, то и тут пойду под присягу, что ничего о том не знаю“.

Столичные дворяне, обычно, сами не наказывали своих слуг, а отправляли их „для исполнения наказания“ в ближайшую полицейскую часть. К сожалению, полицейские архивы не сохранили документов, могущих дать интереснейший материал о „взысканиях“, налагавшихся петербургскими дворянами на своих крепостных. Однако, пристав исполнительных дел Рождественской части Н. Цылов, автор очень ценного для истории застройки города „Атласа 13 полицейских частей г. Петербурга“, оставил в своих записках любопытные сведения о числе крепостных присылавшихся в вверенную его управлению часть, для наказания. В 1843 г. таковых лиц было 29, в 1844 г.—57, в 1845 г.—70, в 1846 г.—93, в 1847 г.—115, в 1848 г.—132, в 1849 г.—141, в 1850 г.—149, в 1851 г.—167, в 1852 г.—181. Как замечает Цылов, в Рождественской части в 1843 г. было 32 питейных заведения, в 1847 г.—130, в 1852 г.—203. Таким образом увеличение числа питейных заведений в шесть раз повлекло за собою,—заключает он,— соответствующее увеличение присылаемых в полицию для наказания крепостных. Однако, дурное „исполнение службы

слугами“, на которое так жаловались дворяне, объяснялось не только „пьянством и ленью“, но и общим недовольством среди крепостных, уже весьма ощутимым в сороковых годах.

Этот же пристав Цылов, в прошлом скромный преподаватель артиллерийского училища, волей судеб превратившийся в полицейского, оставил следующие любопытные воспоминания о своей службе в полиции. „Обязуюсь сознаться,—пишет он,—что женщин, присылаемых в полицию к наказанию, я почти никогда не наказывал, редкую только, явную пьяницу, наказывал десятью розгами и то по платью. Прочим делал внушение, а многих, особенно хорошеньких, отпускал без всякого взыскания, так как, по дознанию моему, большею частью они присылались для наказания из ревности. Как например: один старик, в генеральском чине, приволакивался за хорошенькой горничной девушкою, находившейся в крепостном состоянии его супруги. Однажды сын генерала, красивый молодой человек, поцеловал эту горничную, что отец увидел в зеркале; старик за что-то к ней привязался, нажаловался жене,—ну и беда. Тотчас призывают кучера и с запискою ко мне марш для наказания розгами. Я, увидев горько плачущую девушку, начал расспрашивать о ее виновности и она, в слезах, всю свою вину вышеизложенную, рассказала мне со всею откровенностью. Разумеется, я ее не наказал. Подобных случаев было много“.[153]

В 1852 г. на съезжую 2-ой Адмиралтейской части на Офицерской ул. (ныне ул. Декабристов) был посажен под арест И. С. Тургенев, за напечатание некролога только что скончавшегося Гоголя („о таком писателе преступно отзываться столь восторженно“). Много лет спустя, автор „Муму“, написанной здесь, на съезжей, вспоминал об „ужасном соседстве его комнаты с экзекуционной, где секли присылаемых владельцами на съезжую провинившихся крепостных слуг“.— Как рассказывает М. Стахович, Тургенев „принужден был с отвращением и содроганием слушать хлест и крики секомых“.[154]

Характерно, что исключительной жестокостью в отношении своих слуг отличались женщины. „Нет более строгих в наказании своих слуг, как женщины,—отметил Р. Бремнер.—В семьях, где нет хозяина, исполнение этих обязанностей отнюдь не является синекурой. Нежными созданиями должны быть эти русские дамы!“[155]—„Приказывают ли они наказать неловкого слугу или виновную в небрежности прислужницу,—записал французский литератор Ж.-Б. Мей,—они остаются совершенно бесчувственными к стонам своих жертв и, лишь больше раз-



дражаясь, велять удвоить наказание только потому, что господам докучают мольбы наказываемых".[156]

В просвещенный век Екатерины II в Сенате слушалось дело по обвинению петербургской губернской канцелярией вдовы тайного советника Ефремовой в истязании „дворовой девки" Осиповой. Ее секли батогами, по распоряжению Ефремовой, два артиллериста и барабанщик и Осипова „после того на другой день по утру умре". Правительствующий Сенат, однако, постановил: „за таковой в неумеренном наказании поступок предать ее, Ефремову, церковному покаянию". Однако, Сенату и это „наказание" показалось слишком суровым, а потому, приняв во внимание высокое звание „осужденной", он определил повергнуть все дело „в высочайшее ее императорского величества благоволение", прося указа. [157]

„Я не первый,—записал свидетель конца царствования Екатерины, Массон,—кто заметил, что в России женщины вообще более злы, жестоки и грубы, чем мужчины: это происходит оттого, что они более невежественны, более суеверны. Они никогда не путешествуют, мало учатся, не работают". Массон пишет также, что он видел в Петербурге одну крепостную, которой ее госпожа, какая-то княгиня (Козловская), разорвала пальцами рот до ушей".[158]

Среди целого ряда подобных случаев выделяется своей исключительной жестокостью история некоей дворянки Рачинской, происшедшая в первых годах XIX века. Как рассказывает в своих мемуарах генерал А. М. Фадеев, дед С. Ю. Витте, в Петербурге проживала некая бедная вдова чиновника, дошедшая „до такой крайности, что была принуждена заложить свою крепостную девушку дворянке, девице Рачинской. Эта Рачинская мучила девушку всякими истязаниями; однажды она ее тузила до того, что та свалилась без дыхания; обморок ли с нею сделался или лишилась жизни—неизвестно. Рачинская испугалась. Чтобы выпутаться из беды, она решилась ее разрезать по частям и сжечь в печке. Надобно знать, что все это она делала сама, собственноручно, и начала с того, что распорола живот, вынула внутренности и бросила в печь, но так как печь не топилась, то, засунув тело под кровать, позвала слугу, приказала ему принести дров и затопить печь. Слуга принес дров, начал класть, почувствовал какой-то странный запах, вгляделся, увидел кровь; положил, однако же, дрова, пошел будто за огнем и побежал дать знать полиции. Привели квартального, обыскали и нашли труп девушки под кроватью".[159]

Прошли десятилетия, однако, ничто не изменилось в столичных нравах.—„Светская женщина,—отметил Ф. Лакруа уже в николаевское время,—чей пленительный разговор, прекрасный вкус, разнообразные знания, тонкую элегантность, очевидную мягкость, вы имели возможность двадцать раз оценить, во время своей беседы с вами о литературе или искусствах, даст приказание высечь до крови одного из своих крепостных, совершившего какую-либо весьма извинительную неловкость. Рассказывают о возмутительных жестокостях, совершенных одной из представительниц высшего дворянства; некоторым приписывают вещи, которые даже перо отказывается передать".[160]

К сожалению анналы изучаемой нами эпохи мало сохранили документальных данных о „жестоких поступках" столичного дворянства. Однако отрывочные сведения мемуаристов дают основание думать, что „палочный" режим Николая I отнюдь не содействовал смягчению нравов петербургского дворянства. Так в известной работе А. Любавского „Русские уголовные процессы" подробно описан зарегистрированный еще в конце пятидесятых годов факт жесточайшего обращения жены майора А. Свечинской со своими крепостными. Она вырывала волосы у своих слуг, топтала их ногами, била их так, что палки ломались.

И только теперь, из недавно опубликованных Центрархивом отчетов III Отделения стал документально известен ряд случаев жестокого обращения с крепостными в Петербурге. Однако до сведения грозного шефа жандармов доходили, несомненно, лишь самые вопиющие факты „нарушения дворянами законов"; в свою очередь, III Отделение всеподданнейше докладывало лишь о случаях исключительного зверства, так как не в интересах жандармов было раскрывать пред Николаем I картину полного произвола столичного дворянства. Таким образом материал, которым мы располагаем для освещения истинного положения петербургских крепостных, весьма ограничен.

В 1839-1842 годах возникли дела по обвинению в жестоком обращении с крепостными—чиновника управы благочиния Крузе и его жены, вдовы коллежского ассесора Винскевич, чиновника 9-го класса Аксенова и его жены, чиновника 7-го класса Григорьева. В 1843 г. обнаружено было столь зверское отношение штаб-ротмистра Балясникова и его жены к „дворовой девке" Ефимовой, что, по высочайшему повелению, оба они были арестованы. Тогда же возникли подобные

дела об отставном полковнике Яхонтове, коллежском советнике Мартынове, надворном советнике Самойлове и др. В 1857 г. был предан суду вице-директор департамента государственных имуществ Нефедьев, жестоко наказывавший своих крепостных розгами и бивший их „собственноручно“ палками. В 1859 г. жена инженера, штабс-капитана Баранова, подозревая „девку Андрееву в краже и вынуждая ее в том сознание, посадила ее на горячую плиту“. [161]

Правда, мы не находим среди помещиков того времени личности, подобной известной Салтычихе, — говорит исследователь крепостного права В. Семевский, — но некоторые факты заставляют думать, что способы истязаний крепостных — цепи, оковы, колодки, деревянные чурбаны, шейные рогатки, особые арестантские помещения, были распространены в то время более прежнего. Наряду с „конскими кандалами“, „личными сетками“ (для пытки голодом), наложением сургучной печати на голое тело, выщипыванием бород, опаливанием лучиною волос на теле женщин, существовали также и барские забавы в виде качания дряхлых старух на высоких качелях, „пока старуха не обомрет“, а затем и купания их в колодцах и прудах. Бывало также, что старух раздевали и они, в таком виде, прислуживали господам при игре на биллиарде, держа в руках факелы „на подобие римских весталок“. [162]

Помимо телесных наказаний, владелец пользовался в то время правом непосредственной отдачи своих крепостных в смирительные дома и исправительные арестантские отделения. Дворянин мог даже сослать своего крепостного в каторжные работы. Право это было отнято у него лишь после обратившего на себя внимание случая ссылки помещицей Козляниновой своего крепостного Сергеева в каторжные работы на 20 лет. [163]

Такое смягчение закона свидетельствовало уже о значительном сдвиге в вопросе о крепостном праве. К этому времени были уже далеко позади годы екатерининского и павловского царствований, годы расцвета феодально-крепостнической системы. На рубеже XVIII—XIX веков, благодаря росту промышленно-капиталистических отношений, на уже ветхом здании крепостничества появляются первые трещины, особенно ощутимые после бурь 1812 года.—К тридцатым годам устои крепостничества уже сильно подорваны. Встревоженное дворянство напрасно пытается внушить себе иллюзии „общего благополучия“ и, закрывая глаза на истинное положение, ищет в идиллиях Жуковского забвения суровой действительности.

Между тем, страна уже зашла в безвыходный тупик, как неминуемое следствие отсталости всех форм хозяйственной системы страны. На ряду с внутренним экономическим распадом крепостничества, появились и внешние грозные факторы — в форме все учащавшихся поджогов, убийств помещиков и бегства крепостных. Известный художник Орас Верне, посетивший Петербург в начале 40-х годов, упоминает о ряде столичных дворян-помещиков, не решавшихся выехать в свои поместья, из боязни бунтов. [164]

Настало время, когда, по выражению Ленина, на смену оседлому, забитому, приросшему к своей деревне крепостному крестьянину, выросло новое поколение, побывавшее на отхожих промыслах в городах и принесшее оттуда опыт и смелость. [165] Не случайно в числе губерний, с наибольшим % высланных за „дурное поведение" в Сибирь крепостных, стоят на первом месте, как сообщает С. Максимов, обе столичные губернии. По далеко не полным данным министерства внутренних дел, всего лишь за девять лет, с 1835 г. по 1843 г., было сослано в Сибирь, за убийство помещиков, 416 человек крепостных. [166] Кроме того, с 1826 г. по 1834 г. последовало 148 крестьянских восстаний, с 1835 г. по 1844 г. — 216 и с 1845 г. по 1854 г. — 348. [167] С каждым годом крестьянское движение все более и более разросталось. По подсчету В. Невского, в 1858 г. было уже 86 крестьянских бунтов, в 1859 г.— 90, в 1860 г.—108. [168]

Яркую картину крестьянских волнений дают опубликованные в 1931 г. Центрархивом отчеты III Отделения Николаю I. Они свидетельствуют о необычайно упорной борьбе крестьянства, значительно повлиявшей на политику дворянства и правительства. Не даром Бенкендорф отметил в своем отчете за 1839 г., что „крепостное состояние есть пороховой погреб под государством".

Полоса волнений не миновала и Петербурга. Еще в XVIII веке здесь был зарегистрирован ряд „дерзких неповиновений" среди дворовых людей. Однажды группа их осмелилась даже подать челобитную на своих господ самому Павлу I. Однако, император приказал тотчас же дать каждому из челобитчиков столько плетей, сколько пожелает его барин. „Поступком сим, — говорит современник, — Павел приобрел себе всеобщую похвалу и благодарность от всего дворянства".

Тем не менее, в Петербурге последовал целый ряд „дерзких" убийств дворян их крепостными.—Особое внимание обратило на себя в первые годы XIX века убийство кн. Яблонов-

ского. Возвращаясь с дачи Строганова на Черной речке он был убит своим кучером, который ударил его колесным ключем, а затем задушил возжами. Убийца был вскоре задержан близ Ладоги и присужден к 200 ударам кнута. Приговор был приведен в исполнение 20 сентября 1806 г. на „площади, где торговали скотом, близ Невы“, то-есть на обычном лобном месте Петербурга—Конной площади.

Эту казнь подробно описали в своих мемуарах два английских путешественника Д. Грин и художник Р. Портер. Собравшаяся со всех концов города громадная толпа, по словам Портера, „была куда ужаснее шумной толпы, собиравшейся в Лондоне на публичных казнях перед Ольд-Бэлей“. Но вот несколько палачей с кнутами в руках, окружили жертву. Забил барабан и истязание началось. Палач, нанеся шесть ударов, уступал место другому, подходившему со свежим кнутом в руках. Наказуемый испустил вопль лишь при первых ударах, на двенадцатом ударе он уже умолк и лишь вздрагивания тела показывали что он еще жив. Наказание длилось час. Когда положенное количество ударов было отсчитано, преступника подняли. Он оказался жив. Ему прокололи на лбу и на щеках надпись „вор“ и вырвали ноздри. Он имел еще в себе достаточно силы, чтобы надеть кафтан. Как говорит Портер, „этот кучер убил своего господина за жесточайшие притеснения не только его самого, но и всех других крепостных“. Убийца был „красив, молод, хорошо сложен“. [169]

В сороковых и пятидесятых годах шеф жандармов в своих ежегодных всеподданнейших докладах отметил три покушения на убийство со стороны петербургских дворовых.—В 1848 г. дворовые люди Кривошеев и Лагошев покушались на жизнь своей владелицы гр. И. Воронцовой. В 1857 г. трое дворовых избили камер-юнкера кн. Сибирского, а затем пытались его задушить. „Произведенным исследованием обнаружено, что означенные люди выведены были из терпения вспыльчивым и раздражительным характером своего господина“.

Наконец, в 1854 г. возникло громкое дело „об убийстве в Петербурге 25 декабря 1854 г. действительного статского советника Оленина двумя крепостными людьми“, потребовавшее назначения особой следственной комиссии. Как выяснилось, „поводом к означенному злодеянию последовало дурное обращение Оленина с людьми его и что по жалобам их местное начальство делало ему неоднократно внушения. В то же время, по управлявшимся Олениным собственным и принадлежащим жене его имениям в Тверской, Московской и Туль-

ской губерниях, произведены особые исследования, которыми дознано, что крестьяне указанных имений от обременения повинностей находятся большей частью в бедном положении и нуждаются в продовольствии. Поэтому сделано распоряжение, как об отпуске им хлеба, так и об учреждении особого надзора местных властей за управлением наиболее расстроенной тульской вотчины. Убийцы Оленина заключены в Петербургский тюремный замок, а прочие дворовые люди, 12 человек, отправлены на родину".

Между тем долго сдерживаемая волна возмущения и протеста среди крепостных росла с каждым годом. Создавшееся угрожающее положение отметил еще декабрист Штейнгель, записавший, что „в одной Москве девяносто тысяч одних дворовых, готовых взяться за нож и первыми жертвами будут наши бабушки, тетушки, сестры"...

Характерно, что даже III Отделение склонно было считать основными причинами волнений крестьян—тяжелые оброки и повинности, а также жестокое обращение помещиков с крепостными.[170] Между тем, бунты среди дворовых становились тем опаснее, что численность дворовых повсеместно быстро возростала. В 1835 г. дворовые составляли лишь 4% всего количества крепостных. К концу же 50-х годов число их дошло почти до 7%, увеличившись с 914.000 чел. до 1.467.000 чел. Стремление помещиков к переводу своих крестьян в дворовые объяснялось тем, что по закону земля крестьянина, переведенного в дворовые, отбиралась „на барина", расширяя таким образом площадь его запашки. Наконец в 1858 г., под угрозой все возраставших волнений среди крестьян, правительство было вынуждено воспретить перевод крестьян в дворовые.

О бунтарских настроениях дворовых людей правительство было достаточно осведомлено. Не даром в своей речи к депутатам петербургского дворянства Николай охарактеризовал дворовых, как „класс весьма дурной".—„Будучи взяты из крестьян,—сказал Николай,—они отстали от них, не имея оседлости и не получив ни малейшего образования. Люди эти вообще развратны и опасны для общества, как и для господ своих. Я вас прошу быть крайне осторожными с ними. Часто за столом или в вечерней беседе вы рассуждаете о делах правительственных и других, забывая, что люди эти вас слушают и по необразованности своей и глупости толкуют суждения ваши по своему, то-есть превратно. Господа!—закончил свою речь Николай,—у меня полиции нет. Я не люблю ее: вы моя полиция. Каждый из вас мой управляющий".



Аналогичные слова произнес некогда отец Николая, сказавший, что у него столько полицеймейстеров, сколько помещиков. Но усердие этих добровольных полицейских было совершенно бессильно затушить все разгоравшееся пламя мятежа. Напрасны были все усилия власти скрыть от постороннего взора все учащавшиеся случаи убийств помещиков и поджогов имений.—Мемуары того времени полны упоминаний о „своевольстве“ и „упорстве“ бунтующих крестьян. Один французский врач отметил, что „каждый год подобного рода печальные факты имеют место на московской земле. Но самая глубокая тайна их окутывает и, если по крайней мере, вы не проезжаете по таким зловещим местам, вы ничего обо всем этом не услышите“. [171]

Крестьянские волнения сыграли огромную роль в деле уничтожения крепостного права. И когда, наконец, борьба крестьянства с феодальным дворянством достигла, в середине XIX столетия, крайнего напряжения, последовали „реформы“ 1861 года. Новое положение устраняло непреодолимое дотоле препятствие к экономическому развитию и без того отсталой страны. В период, предшествовавший реформам, стало уже совершенно очевидным, что крепостной крестьянин является дурным работником и против крепостного труда стала высказываться влиятельнейшая часть буржуазно-либеральных элементов дворянства, самым тесным образом связанных с бюрократическими верхами. Однако, все их влияние, без наличия упорной борьбы самого крестьянства, большого политического значения иметь не могло. Ликвидация же крепостного труда давала возможность свободного выбора рабочей силы, а также включения в оборот скрытых дотоле капиталов крепостной буржуазии, открывая, таким образом, широкий путь росту внутреннего рынка.

Характерное замечание оставил француз Дюкре, посвятивший особое исследование русскому рабству.—„У меня перебывало,—отметил он,—множество слуг и те, которые принадлежали ранее господам, относившимся к ним с мягкостью, те отличаются своим поведением и преданностью“. Знаменитому филантропу Джону Говарду показали в 1781 г. в Петербурге одного помещика, крестьяне которого, узнав, что он, нуждаясь в деньгах, задумал их продать, принесли ему потребную сумму денег, лишь бы он остался их господином. [172] Такие случаи были не единичны и в последующее время.

Известен целый ряд случаев добровольного следования крепостных в Сибирь за своими ссыльными господами. Многие из

слуг, получив там вольные, тем не менее не оставили своих бывших господ, всячески стараясь облегчить их изгнание. Дворовая декабриста М. Нарышкина, Анисья, отпущенная на свободу, не оставила своих господ в ссылке и пользовалась огромным авторитетом у местных властей. Сам комендант Лепарский, как рассказывает декабрист Лорер, снимал перед нею свою фуражку.—Когда Павел I отправил в Петропавловскую крепость А. И. Рибопьера, за якобы нанесенное им оскорбление императорской фаворитке Гагариной, рибопьеровский крепостной, старик-парикмахер Иван Новицкий, упав к ногам генерал-прокурора Обольянинова, выпросил у него разрешение разделить тюремное заключение своего барина.

Много случаев трогательной преданности передают нам мемуары александровского времени. Сколько дядек, подобно пушкинскому Никите Козлову, не расставались со своими господами буквально от колыбели до могилы.

„А много, все-таки, много обязан я тебе, в своем развитии, безобразная, распущенная, своекорыстная дворня!“ — записал о своем детстве Аполлон Григорьев. [173] Ведь среди крепостных слуг того времени встречалось множество образованных людей, подчас знающих несколько языков. В объявлениях о розыске сбежавших дворовых людей часто пестрят слова: „пишет по-русски, говорит по-немецки“.

Даже Бенкендорф, в докладе III Отделения за 1827 г., вынужден был отметить, что „среди этого класса (крепостных) встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить в первого взляда“.—Когда известная Татьяна Борисовна Потемкина учредила под Петербургом, в Гостилицах, ланкастерскую школу, она назначила ее учителем, рассказывает П. А. Вяземский, специально выкупленного с этой целью от одного помещика крепостного, славившегося своими познаниями. — „Мне часто приходилось встречать в прихожих русских господ, — записал французский режиссер А. Домер, — крепостных, читающих потихоньку Вольтера и Руссо, взятых из барской библиотеки“. [174]

Коль также встречал в Петербурге очень образованных слуг. Он знавал, между прочим, дворецкого, выучившего наизусть всего Крылова и прочитавшего шесть раз „Историю“ Карамзина, за неимением иных книг. Другой пристрастился к математике и прекрасно знал алгебру и геометрию. [175] Наибольшим успехом среди крепостных пользовались книги с описанием жизни Наполеона. Все, что выходило о нем на русском языке, тотчас расхватывалось слугами,—рассказывает Коль.—Если заглянуть

в их темные комнаты, в ящики их комодов,—пишет он дальше,—можно изумиться. Обрывок библии лежит рядом с переводом „Иллиады“ и изданная синодом азбука подле произведений Вольтера. По своему образованию они часто превосходят прислугу других стран и в их документах постоянно встречаются отметки: „знает языки“ и нередко: „русский, французский, немецкий, английский и турецкий“. [176]

Чтение крепостными газет и журналов давно уже обращало на себя внимание правительства. Дворяне жаловались, что в годы войны „газеты прочитываются прежде в лакейской, а потом уже господами“. Поэтому, когда в 1840-х годах был учрежден „Меншиковский“ комитет о цензуре, на периодическую печать было приказано обратить особое внимание, ибо „газеты и журналы переходят в трактиры и передние“. [177]

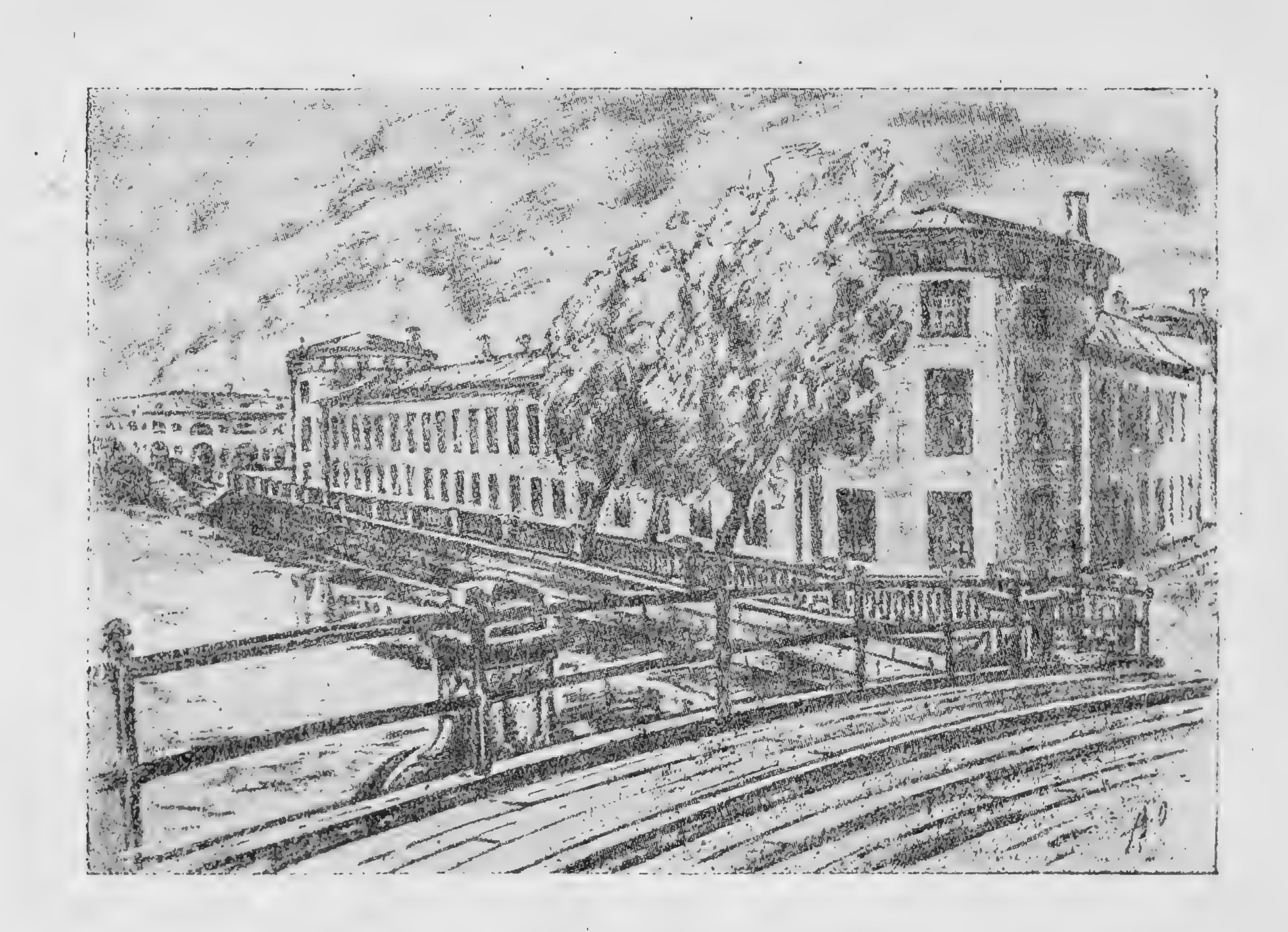
Вышедшая в свет при Александре I весьма либеральная книга сенатора гр. В. Стройновского „Об условиях помещиков с крестьянами“, вызвала всеобщий протест крепостников, с негодованием указывавших „что сия книга ходит по рукам, что ее даже читают лакеи“.

Между тем необходимость социально-экономических реформ в стране была уже очевидна для целого ряда представителей крупного феодального дворянства. „Изо всех сословий в России крестьяне заслуживают наибольшее внимание. Большинство их одарено и большим умом и предприимчивым духом, но лишенные возможности пользоваться тем и другим, крестьяне осуждены коснеть в бездействии и тем лишают общество трудов, на которые они способны“. Так писал в своем докладе Александру I гр. Павел Строганов, один из богатейших людей России.

„Мы невольно поражаемся умственным и нравственным убожеством господствующего сословия,—отметил один историк.—В нравственном отношении они гораздо ниже тех, над кем им приходится властвовать, в умственном—ни сколько не выше их“.

Известному историку А. Шлецеру встретился в Петербурге, в доме, где он поселился, мальчик-слуга 14 лет, очень развитой и исполнительный. [178] Он совершенно правильно говорил по-русски, немецки и фински. „Однажды я нашел его полупьяным,—рассказывает Шлецер,—но так как он на другой день, уже совсем трезвый, исполнял все свои обязанности и исполнял их особенно хорошо, то я прочитал ему наставление, что он легко мог бы составить себе счастье в свете, если бы вел порядочную жизнь и трудился, потому что он пи-

шет уже так хорошо, как не многие в его лета. Он выслушал меня и когда я кончил свое наставление, отвечал: „Я крепостной человек". Эти слова проняли меня до костей. По прошествии 37 лет все стоит предо мной 14-летний мальчик в своем голубом сюртуке; я все еще вижу равнодушное лицо, слышу глухой голос, каким он, повидимому, бесчувственно, без всякого выражения горести, произнес эти слова. Да будет проклято крепостное право!"



ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia. 1874, II; E. Dupré de Saint-Maure. Pétersbourg, Moscou et les provinces. Paris. 1830. I—III; F. Fagnani. Lettere scritte di Pietroburgo correndo gli anni 1811 e 1812. Milano. 1812.—Lettere di Pietroburgo correndo gli anni 1810 e 1811. Milano. 1815, I-II.—В двух последних книгах небезинтересна оценка петербургской архитектуры рубежа XVIII—XIX веков.
2. J.-B. May. St. Pétersbourg et la Russie en 1829. Paris, 1830, I, p. 29.— Мею, так сокрушавшемуся об участи русских „людей-скотов", которым он противопоставлял „свободного" французского крестьянина, следовало бы вспомнить слова, обращенные Франциском I к венецианскому послу: „Император—король над королями, испанский король—король над людьми, французский король—король над скотами". G. Hanotaux. Tableau de la France en 1614. Paris, p. 330.—В Германии, в XV—XVI веках также говорили: „Крестьянин отличается от быка только тем, что рогов не имеет" (der Bauer ist an Ochsen statt, nür dass er keine Hörner hat).
3. Mémoires d'un ministre étranger résidant à St. Pétersbourg. A la Haye. 1737, p. 276.
4. N. Tourgueneff. La Russie et les Russes. Paris. 1847, II, p. 192.
5. „Журнал министерства внутренних дел". 1837 г., т. 23, стр. 234.
6. И. Пушкарев. Описание Петербурга. СПБ. 1838 г., I, стр. 48; A. Buddeus. Zur Kenntniss von St. Petersburg im Kranken Leben. Stuttgart. 1846, S. 49.
7. Сборник русского исторического общества. т. 73, стр. 124.
8. „Русская Старина". 1876 г., т. XV, стр. 238.
9. М. Покровский. Очерк истории русской культуры. Москва. 1925 г., I, стр. 91; С. Вознесенский. Разложение крепостного хозяйства и классовая борьба в России. Москва. 1932 г., стр. 174.
10. М. Балабанов. Очерки по истории рабочего класса в России. Киев. 1924 г., I, стр. 70.
11. „Звезда". 1926 г., кн. I, стр. 176 и кн. 2, стр. 174—177, 180 и 193.
12. M. Weber. Grundriss der Socialökonomik. III. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen. 1922, S. 528.
13. J. Woltmann. Beschreibung einer Reise nach St. Petersburg. Hamburg. 1853, S. 145—47; T. Welp. Petersburger Skizzen. Leipzig. 1842, III, S. 157; К. Кавелин. Собрание сочинений. СПБ. II, стр. 13.
14. Щукинский сборник. кн. 4, стр. 75.
15. По мере удаления от столицы, оброк уменьшался. В Гостилицах, под Ораниенбаумом, в имении Разумовского, вспыхнули в 1821 г. волнения из-за непомерности оброка, определенного в 20 руб., оказавшихся для крестьян непосильным бременем.—Крестьянский строй. СПБ. 1905 г., I. стр. 190.

16. Damaze de Raymond. Tableau historique... de l'empire de Russie. Paris. 1812, I, p. 435; J. Roy. Les Français en Russie. Tours. 1856, p. 166. Эта книга переведена на русский язык.—И. Руа. Французы в России. Воспоминания о компании 1812 г. и о двух годах плена в России. СПБ. 1912 г.—Как явствует из этого, переводчик называет автором книги И. Руа, тогда как из предисловия к французскому изданию видно, что эти воспоминания были кем-то сообщены Руа, не являющимся отнюдь их автором. Насколько можно судить, автором их был французский военный врач Франц Мерсье, находившийся во время своего плена в Саратове. Список французских пленных в Саратове опубликован Н. Хованским в его книге „Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1912 г. Саратов. 1912 г.
17. Б. Греков. Хозяйственное состояние России накануне выступления декабристов. Сборник „Бунт декабристов". Лен. 1926 г., стр. 18; его же „История русского народного хозяйства". Лен. 1926 г., I, стр. 576—77; „Известия Академии Наук СССР". Отделен. обществ. наук. 1932 г., № 6, стр. 515—19.
18. „Библиотека для чтения". 1842 г., т. 152, стр. 12; „Русский Архив". 1898 г., кн. 9, стр. 17.
19. С. Шереметев. Старший брат мой. СПБ. 1893 г., стр. 4.
20. F. Christin et la pr. Tourkestanow. Moscou. 1883, p. 794.
21. „СПБ. Ведомости". 1800 г., № 19 и 1802 г., № 1.
22. Ibidem. 1805 г., стр. 860.
23. C. Masson. Mémoires secrets sur la Russie. Paris. 1800, II, p. 199.
24. H. Storch. Gemählde von St. Petersburg. Riga. 1794, II, S. 399.
25. W. Friebe. Ueber Russland's Handel. Gotha. 1797, S. 279.
26. „Наша старина". 1916 г., кн. 1, стр. 35.
27. De Passenans. La Russie et l'esclavage. Paris. 1822, I, p. 111.—Как рассказывал в 40-х годах Н. Тургенев, на одном из рынков Нового Орлеана, в Соединенных Штатах Америки, были проданы 74 негра, мужчины и женщины, всего за 82.635 долларов, что составляло, в среднем, 4.000 франков за человека.
28. J.-B. May. St. Pétersbourg et la Russie en 1829. Paris. 1830, I, p. 36; E. Jerrmann. Unpolitische Bilder aus St. Petersburg. Berlin. 1851, S. 181.
29. „Наша старина". 1916 г., № 2, стр. 140—42.
30. F. Lacroix. Les mystères de la Russie. Paris. 1854, p. 119.
31. C. Masson. Mémoires secrets sur la Russie. Paris. 1802, III, p. 418.—Д. Шедо—Ферроти рассказывает про вдову одного ростовского врача, владелицу 12 крепостных. Эта помещица подвергала своих подданных самому жестокому обращению, добиваясь от них уплаты непосильного оброка. Принадлежавших ей восемь женщин она принуждала к самому постыдному поведению, заставляя торговать собой. Это уже происходило не в дни Екатерины, а ее внука, Николая I.
32. L. R. de Bussierre. Voyage en Russie. Paris. 1831, p. 61.
33. J. Roy. Les Français en Russie. Tours. 1856, p. 120.
34. Декабрист М. Лунин. Труды Пушкинского Дома. Петр. 1923 г., стр. 41.
35. „Русский Архив". 1881 г., кн. I, стр. 180; „Русская Старина". 1897 г., кн. 7, стр. 100.
36. „Голос Минувшего". 1913 г., кн. 2, стр. 85.
37. Записки историко-бытового отдела Русского Музея, т. I, стр. 125 и 161. Надо отметить, что закон воспрещал в то время освобождение крестьян, по духовным завещаниям, целыми вотчинами.—Дед Н. П. Шереметева, известный Борис Шереметев, был куда великодушнее

своего внука. По его завещанию была отпущена, после его смерти, вся дворня, награжденная к тому же еще годовым жалованьем.— „Русский Архив“. 1875 г., кн. 1, стр. 90.
38. „Журнал министерства внутренних дел“. 1838 г., т. 27, стр. XXXIX.
39. Центрархив. Крестьянское движение. 1827—1869 г.г. Москва. 1931 г., I, стр. 9.
40. „Русский Архив“. 1873 г., стр. 640; А. Степанов. Крестьяне-капиталисты. Лен. 1926 г., стр. 10.
41. „Голос Минувшего“. 1914 г., кн. 2, стр. 123.
42. J.-B. May. St. Pétersbourg et la Russie en 1829. Paris. 1830, I, p. 141.
43. R. Faure. Souvenirs du Nord. Paris, 1821, p. 315.
44. Revelations of Russia or the emperor Nicholas. London. 1844, I, p. 96; J. Roy. Les Français en Russie. Tours. 1856, p. 166.
45. L. Léouzon Le Duc. La Russie contemporaine. Paris. 1853, p. 253.
46. Van Wonzel. Etat présent de la Russie. St. Pétersbourg et Leipzig. 1783, p. 58.
47. „Киевская Старина“. 1896 г., кн. 4, стр. 75.
48. E. Jerrmann. Unpolitische Bilder aus St. Petersburg. Berlin. 1851, S. 37.
49. D. Schédo—Ferroti. Etudes sur l'avenir de la Russie. Berlin. 1859, p. 80—81; M. G. de Molinari. Lettres sur la Russie. Paris. 1877, p. 284—86.
50. N. Tourgueneff. La Russie et les Russes. Paris. 1847, II, p. 125.
51. С. Шереметев. Отголоски XVIII века. вып. XIII. Москва. 1900 г., стр. 50. Много лет спустя немецкий исследователь Гакстгаузен отмечал в своей работе о России гуманное отношение Шереметевых к их крепостным.
52. Е. Карнович. Замечательные богатства частных лиц в России. СПБ. 1874 г., стр. 180.
53. N. Tourgueneff. La Russie ef les Russes. Paris. 1847, II, p. 146—47.
54. A. Zando. Russische Zustände. Hamburg. 1851, S. 128—29.
55. Записки историко-бытового отдела Русского Музея. т. I, Лен. 1928 г., стр. 231—32.
56. J. Meermann's Reise durch den Norden. Weimar. 1810, II, S. 313.— Яркую характеристику богатства крепостной буржуазии оставил Беарде-Делабей: „Богатство, принадлежащее рабу, подобно брякушкам серебряным, у собаки на ошейнике висящим: все принадлежит господину“.
57. Сборник „Крепостная Россия“. Лен. 1930 г., стр. 192.
58. Сборник русского исторического общества. т. 98, стр. 217.
59. „Отечественные Записки“. 1848 г., т. 57, ч. II, стр. 17.
60. „Русский Архив“. 1889 г., кн. 1, стр. 145.
61. Зрелище природы и художеств. СПБ. 1809 г., ч. VIII, № 47.
62. D. Soltau. Briefe über Russland. Berlin. 1811, S. 180—81; Damaze de Raymond. Tableau historique... de l'empire de Russie. Paris. 1812, II, p. 119; G. Green. An original journal from London to St. Petersburg. London. 1813, p. 87; J. Thiele. Der Eremit in St. Petersburg. Kaschau. 1826, S. 10; J. Kohl. Petersburg in Bildern und Skizzen. Dresden und Leipzig. 1841, I, S. 10.
63. „Русский Архив“. 1899 г., кн. 9, стр. 28.
64. Lettres du c-te V. Esterhazy à sa femme. Paris. 1907, p. 297.
65. „Чтения в Обществе истории и древностей российских“. 1858 г., кн. 2, отд. 5, стр. 170.
66. „La Revue hebdomadaire“. 1899, № 21, p. 485.—Автор тут ошибочно называет Левенвольде—Révol. — Но и в России его часто называли— „Левольд“.—См. Сборник русского исторического общества. т. 106,

стр. 329.—Однако из всего сообщения явствует, что речь здесь идет о гофмаршале гр. Левенвольде.
67. L. Léouzon Le Duc. La Russie contemporaine. Paris. 1853, p. 152.
68. „СПБ. Ведомости". 1805 г., стр. 464.
69. Memoirs of John Quincy Adams. Philadelphia. 1874, II, p. 193—94; A. B. Granville. Guide to St. Petersburg. London. 1835, II, p. 352—53.
70. С. Шереметев. Столетние отголоски. Москва. 1903 г., стр. 33—34 и 97; его же. Отголоски XVIII века. вып. XI. Москва. 1905 г., стр. 142. Скупые на расходы по содержанию своей дворни, Шереметевы не жалели денег на свои капризы и прихоти.—Как отметил в своем дневнике бывший шереметевский крепостной А. Никитенко, гр. Д. Н. Шереметеву, его близость к знаменитой балерине Истоминой стоила более 300.000 рублей.—Дневник А. Никитенко. СПБ. 1905 г., I, стр. 109.
71. М. Корф. Жизнь Сперанского. СПБ., I, стр. 40—41.
72. W. Wilson. Travels in Russia. London. 1828, I, p. 379.—„Иностранец, живущий вместе с русским, хотя бы даже князем,—писал Массон,—вскоре убедится, что нельзя ничего оставлять ни на туалете, ни на письменном столе".
73. T. Welp. Petersburger Skizzen. Leipzig. 1842, III, S. 144.
74. A. B. Granville. Guide to St. Petersburgh. London, 1835, II, p. 425.—Небезинтересные сведения о наемных слугах Петербурга 1850-х годов содержат „С.-Петербургские Ведомости" за 1859 год, №№ 26 и 65, „Экономический Указатель" за тот же год, № 110 и брошюра „По вопросу о наемных слугах в Петербурге". СПБ. 1859 г.
75. „СПБ. Ведомости". 1802 г., № 4 и 1805 г., стр. 919.
76. „СПБ. Ведомости". 1822 г., стр. 843; „Отечественные Записки". 1822 г., кн. 9, стр. 425—29.
77. А. Смирнова-Россет. Автобиография. Москва. 1931 г., стр. 30 и 154.
78. E. Fabre. Promenades d'un désoeuvré dans la ville de St. Pétersbourg. Paris, 1812, I, p. 115; С. Аллер. Указатель жилищ и зданий С.-Петербурга. СПБ. 1822 г., стр. 647; G. Jones. Travels in Norway... Russia and Turkey. London. 1827, I, p. 547; W. Wilson. Travels in Russia. London. 1828, I, p. 364; „Северная Пчела" от 4 июля 1838 г.; Воспоминания Ф. Булгарина. СПБ. 1846 г., I, стр. 199.
79. Общественная и частная жизнь А. Шлецера. СПБ. 1875 г., стр, 111.
80. R. Porter. Travelling Sketches in Russia. London. 1809, I, p. 26; G. Jones. Travels in Norway... Russia and Turkey. London. 1827, I, p. 422; W. Wilson. Travels in Russia. London. 1828, I, p. 356; J. Kohl. Petersburg in Bildern und Skizzen. Dresden u. Leipzig. 1841, II, S. 123. Ср. — J. Bernoulli's Reisen nach Brandenburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und Pohlen in den Jahren 1777 u. 1778. Leipzig. 1780, V, S. 143.
81. E. Fabre. Promanades d'un désoeuvré dans la ville de St. Pétersbourg. Paris. 1812, I, p. 110—14.
82. А. Герцен. Письма из Франции и Италии. Лен. 1931 г., стр. 19.
83. Труды Вольно-Экономического Общества. 1772 г., вып. XXI, стр, 134.
84. N. Tourgueneff. La Russie et les Russes. Paris. 1847, II, p. 150.
85. „Земледельческая Газета". 1847 г., стр. 791.
86. „Русский Вестник". 1875 г., т. 35, стр. 321.
87. Автобиографические записки И. Сеченова. Москва. 1907 г., стр. 10.—Н. Тургенев рассказывает, что французским герцогам де-Леви принадлежала картина изображавшая спасавшегося вплавь, среди бу-

шующего потопа, человека, уносившего с собою дворянские грамоты этого знатного рода.
88. Сборник русского исторического общества. т. 90, стр. 603.
89. М. Грибовский. О состоянии крестьян господских в России. Харьков. 1816 г., стр. I.—Характерно, что этот Грибовский, на ряду с И. И. Пущиным, фон-дер-Бриггеном, С. Г. Волконским и др. состоял членом „Союза благоденствия“. Впоследствии он являлся тайным агентом Бенкендорфа, кончив свою карьеру в должности Харьковского губернатора.
90. Г. Винский. Мое время. СПБ., стр. 23.
91. J. Meermann's Reise durch den Norden. Weimar. 1810, S. 165.
92. Chantreau. Voyage philosophique. Paris. 1794, I, p. 31.
93. J. Tanski. Tableau statistique, politique et moral du système militaire de la Russie. Paris. 1833, p. 20.
94. Алфавит декабристов. Лен. 1925 г., стр. 251.
95. Г. Щербачев. Идеалы моей жизни. Москва. 1895 г., стр. 88.
96. „Русский Архив“. 1890 г., кн. I, стр. 124.
97. В. Семевский. Крестьянский вопрос. „Крестьянский строй“. СПБ. 1905 г., I, стр. 201.
98. М. Пыляев. Старое житье. СПБ. 1897 г., стр. 185.—См. также „Исторический Вестник“. 1886 г., кн. 9, стр. 550.
99. В. Станюкович. Домашний крепостной театр Шереметевых XVIII века. Лен. 1927 г., стр. 13.
100. С. Шереметев. Отголоски XVIII века. вып. XI. Москва. 1905 г., стр. 116.
101. П. Бессонов. П. И. Шереметева. Москва. 1879 г., стр. 43.
102. „Исторический Вестник“. 1887 г., кн. I, стр. 77.—Данная И. Арсеньевым характеристика юсуповского театра, по словам новейшего его исследователя Н. Кашина, не находит себе подтверждения.—Н. Кашин. Театр Н. Б. Юсупова. Москва. 1927 г., стр. 17—18.
103. „Журнал драматический“. 1811 г., т. I, стр. 235.
104. Ibid., стр. 234.
105. „Русская Старина“. 1876 г., т. XV, стр. 323; „Исторический Вестник“. 1886 г., кн. 9, стр. 551.
106. „Отечественные Записки“. 1822 г., декабрь, стр. 270; Описание праздника, данного родными и друзьями В. А. Всеволожскому 25 октября 1822 г. СПБ. 1823 г.
107. „Современник“. 1863 г., № 7, стр. 139.
108. Сборник русского исторического общества. т. 98, стр. 217.
109. Ежегодник императорских театров. вып. XIV, стр. 89,597 и 608.
110. „Исторический Вестник“. 1889 г., кн. 6, стр. 605—15 и 1902 г., кн. 9, стр. 946—50.
111. Е. Альбрехт. Прошлое и настоящее оркестра. СПБ. 1886 г., стр. 43—44.—Помимо оркестров императорских театров, крепостными актерами пополнялась и императорская балетная труппа. В 1800 г., после смерти екатерининского фаворита С. Зорича, в распоряжение петербургской театральной дирекции были отосланы из Шклова 14 крепостных „танцоров“, в том числе 8 мужчин и 6 женщин.—„Русский Архив“. 1879 г., кн. 5, стр. 64.
112. „Русская Старина“. 1886 г., кн. 3, стр. 647; „Киевская Старина“. 1896 г., кн. 4, стр. 75.
113. Ю. Арнольд. Воспоминания. Москва. 1892 г., I, стр. 27.
114. „Русский Архив“. 1880 г., кн. 3, стр. 306.
115. „Наша Старина“. 1916 г., кн. I, стр. 143.

116. E. Fabre. Promenades d'un désoeuvré dans la ville de St. Pétersbourg. Paris. 1812, I, p. 110.
117. J. Hinrichs. Entstehung, Fortgang und jetzige Beschaffenheit der russischen Jagdmusik. St. Petersburg. 1796, S. 17; L. Fusil. Souvenirs. Paris. 1841, II, p. 175; „Древняя и новая Россия". 1880 г., кн. 8, стр. 777—83.
118. А. Яцевич. Пушкинский Петербург. ч. II. Лен. 1931 г., стр. 108—10.
119. Воспоминания Ф. Вигеля. Москва. 1864 г., II, стр. 40.—Как передавал мне ныне покойный архитектор А. П. Аплаксин (ум. в 1931 г.), работая над биографией Воронихина, он пришел к твердому убеждению, что знаменитый зодчий являлся побочным сыном своего владельца, известного мецената, строителя Казанского собора А. С. Строганова. — См. об этом также „Старые Годы". 1914 г., кн. 2, стр. 53 и „Зодчий". 1914 г., № 11.—Жозеф де-Местр, благодаря продолжительному пребыванию в Петербурге посвященный в тайны великосветских салонов, сообщал в одном из своих писем от октября 1811 г., что Воронихин „состоял при особе гр. А. С. Строганова" и открыто считался его сыном.—A. Blanc. Correspondance diplomatique de J. de Maistre. Paris. 1860, I, p. 35.—Странно читать в формулярном списке о службе Воронихина—„благоприобретенное имение—дворовых людей 4 души".
120. С. Шереметев. Отголоски XVIII века. вып. XI. Москва. 1905 г., стр. 142.
121. „Старые Годы". 1914 г., кн. 1, стр. 67.
122. С. Шереметев. Столетние отголоски. Москва. 1903 г., стр. 38.
123. „СПБ. Ведомости" от 22 января 1787 г.; J. Meermann's Reise durch den Norden. Weimar. 1810, S. 257.
124. „Русский Архив". 1897 г., кн. 5, стр. 124.
125. E. et J. de Goncourt. Portraits intimes du dix-huitième siècle. Paris, p. 336.
126. A. B. Granville. Guide to St. Petersburg. London. 1835, I, p. 555; Marquis of Londonderry. Recollections of a tour in the North of Europe in 1836—37. London. 1838, I, p. 118.
127. В. А. Тропинин „с женой и сыном получал в год 36 руб. и харчевых 7 руб. ассигнациями".
128. С. Шереметев. Отголоски XVIII века. вып. XI. Москва. 1905 г., стр. 142 и 208; Записки историко-бытового отдела Русского Музея. т. I. Лен. 1928 г., стр. 142, 145, 148, 150, 159, 160, 167 и 168.
129. В. Станюкович. Домашние крепостные театры Шереметевых XVIII века. Лен. 1927 г., стр. 64.
130. С. Шереметев. Столетние отголоски. Москва. 1903 г., стр. 73.
131. С. Шереметев. Отголоски XVIII века. вып. XI. Москва. 1905 г., стр. 208.
132. Записки историко-бытового отдела Русского Музея. Лен. 1928 г., I, стр. 169.
133. „Столица и усадьба". 1915 г., № 29.
134. „СПБ. Ведомости". 1796 г., стр. 704.
135. „Наша старина". 1916 г., кн. 1, стр. 143.
136. Отчет Комитета Общества поощрения художников за 1828 г. СПБ. 1829 г., стр. 18.; Д. Ровинский. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПБ. 1889 г., т. IV, стр. 411—12 и 722; Н. Собко. Словарь русских художников.
137. „Московские Ведомости". 1829 г., № 10; „Художественная Газета". 1840 г., № 19.—К числу блестящих самородков-скульпторов относится крестьянин Вологодской губ. Федор Шубин, автор ряда прекрасных малахитовых, яшмовых, лазуревых ваз. Одна малахитовая

ваза, окружностью в 5 аршин, исполненная Шубиным для магазина Филиппо, была преобретена датским посланником Блюмом за 37.000 рублей. Но хозяева магазинов, зарабатывая на произведениях Шубина громадные деньги, жестоко эксплоатировали талантливого мастера. Он жил в доме Дементьева, у Полицейского моста, во дворе, под лестницею. „Надобно иметь необыкновенную зоркость,— писал современник,—чтоб порядочно различать предметы в его темном чулане, сыром в летнее и холодном в зимнее время. Со всем тем из сего подвала выходят лучшие малахитовые, яшмовые, порфировые, ляпис-лазоревые изделия... кои покупаем мы за парижские".—„Отечественные Записки". 1820 г., № 5, сентябрь, стр. 83—87.

138. „Голос Минувшего". 1914 г., кн. 2, стр. 123.

139. А. Никитенко. Записки и дневник. СПБ. 1905 г., I, стр. 276.

140. „Русский Вестник". 1861 г., кн. 11, стр. 54.—Кто был этот Поляков? Почему о нем хранят молчание современники?—Н. Врангель полагает, что это тот же Александр Поляков, жизнь которого рассказана выше.—Н. Врангель. Помещичья Россия. „Старые Годы". 1910 г., кн. 7—9, стр. 32—33.—Но обстоятельства жизни, имена владельцев—„Бл." и „Корнилов", как-то расходятся между собою. Не следует ли все же считать их разными лицами?

141. Н. Трубицын. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе. СПБ. 1912 г.; Л. Гроссман. Поэты крепостной поры. Москва. 1926 г.; И. Розанов. Литературные репутации. Москва. 1928 г.; П. Сакулин. Русская литература. Москва. 1929 г., II; Л. Гроссман. Цех пера. Москва. 1930 г.; Антология крестьянской литературы послеоктябрской эпохи. Москва. 1931 г.

142. Литература о Власове довольно велика.—Из новейших публикаций, посвященных ему, см. ст. Н. Платоновой в „Архиве истории труда в России"., кн. 2, стр. 138—39.

143. Л. Половинкина. История крепостного изобретателя. Лен. 1926 г.—О судовзводном приспособлении Пуадебара см. „Сын Отечества". 1814 г., № 15, стр. 59—64.

144. „Северная Пчела" от 7 августа 1836 г.

145. „Архив истории труда в России", кн. 2, стр. 140.

146. „Отечественные Записки". 1826 г., май, стр. 284—87.

147. В настоящем кратком очерке упомянуты лишь наиболее выдающиеся представители изобретательства первой трети XIX века, вышедшие из крепостных крестьян и связанные с Петербургом. Между тем, изобретатели, конечно, встречались в Петербурге и среди мелкой городской буржуазии. Среди них обращает на себя внимание любопытная фигура некоего „мещанина" Торгованова.—Как сообщает В. Геттун, Торгованов в первые годы царствования Александра I обратился к петербургскому военному губернатору с ходатайством о разрешении ему устройства „проезда с Адмиралтейской стороны на Васильевский остров под Невою, ни мало не мешая оной течению". При этом Торгованов заверял, что он „головой за все отвечает". Однако, Александр I приказал выдать Торгованову из Кабинета 200 руб., обязав его подпискою, „что бы он впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах, состоянию его свойственных". Несмотря на это, Торгованов, повидимому, не унялся. В 1805 г. в „Северной Пчеле" появилось объявление, в котором уже купец Торгованов доводил до всеобщего сведения, что он „изобрел судно, в котором удобно можно плавать под водою в море и реке, токмо не имеет способу доставить оному судну, для дыхания путешество-

вателей, свободного воздуха; почему просит покорнейше знающих особ дать судну тому таковой воздух и вместе с ним произвесть оное судно в действо".—„Северная Пчела". 1805 г., стр. 871; „Исторический Вестник". 1880 г., кн. 2, стр. 285.
148. J. Roy. Les Français en Russie. Tours. 1856, p. 168, 176.
149. A. B. Granville. Guide to St. Petersburg. London. 1835, II, p. 94.
150. From Lune to the Neva. London. 1879. p. 109.
151. F. Tarnow. Briefe auf einer Reise nach St. Petersburg. Berlin, 1819, S. 134.—См. также J. Carr. Travels round the Baltic. Philadelphia. 1805, p. 249.
152. П. Пестель. Русская Правда. Наказ Временному Правлению. СПБ. 1906 г., стр. 90.
153. Щукинский сборник. вып. 6, стр. 131.
154. „Орловский Вестник". 1903 г., № 224.
155. R. Bremner. Excursions in the interior of Russia. London. 1839, I, p. 144.
156. J.-B. May. St. Pétersbourg et la Russie en 1829. Paris, 1830, I, p. 181.
157. В. Грибовский. Материалы для истории высшего суда и надзора. СПБ. 1901 г., стр. 155—57.
158. C. Masson. Mémoires secrets sur la Russie. Paris. 1800, II, p. 122.
159. „Русский Архив". 1891 г., кн. 2, стр. 320.
160. F. Lacroix. Les mystères de la Russie. Paris. 1854, p. 51.
161. А. Любавский. Русские уголовные процессы. СПБ. 1867 г., стр. 366—67; Центрархив, Крестьянское движение. 1827—1869. Москва. 1931 г., I, стр. 30, 38, 47, 56, 87, 101, 126 и 138.
162. Крестьянский строй. СПБ. 1905 г., I, стр. 199 и 291.
163. А. Романович—Славатинский. Дворянство в России. Киев. 1912 г., стр. 295.—Характерно, что при обсуждении этого вопроса в комитете об устройстве сословия дворовых людей 5 апреля 1834 г., присутствовавший в заседании Николай I заявил, что он „не знал о существовании такого закона".—Сборник русского исторического общества. т. 98, стр. 245.
164. Lettres intimes de Horace Vernet pendant son voyage en Russie. Paris. 1856, p. 11.
165. В. Ленин. Сочинения. т. XV, 3 изд., стр. 109.
166. В. Семевский. Крестьянский вопрос. т. II, стр. 585; С. Максимов. Сибирь и каторга. СПБ. 1900 г., стр. 314.
167. В среднем, отметил в конце сороковых годов Галле, крестьяне убивают ежегодно 60—70 помещиков. Теперь это число возросло.—Gallet de Kulture. La sainte Russie. Paris. 1857, p. 6.—См. также—Г. Щербачев. Воспоминания. „Русский Архив". 1890 г., кн. I, стр. 124.
168. Воспоминания Б. Чичерина. Путешествие за границу. Москва. 1932 г., стр. 8. Предисловие В. Невского.
169. G. Green. An original journal from London to St. Petersgburg by way of Sweden. London. 1813, p. 42—43; R. Porter. Excursions in the interior of Russia. London. 1809, II, p. 20—22.
170. Центрархив. Крестьянское движение. 1827—1869. Москва. 1931 г., I, стр. 5.
171. J. Roy. Les Français en Russie. Tours. 1856, p. 175.
172. J. Howard. The state of the prisons in England and Wales. Warrington. 1784, p. 85.—Аналогичные сведения сохранил в своих мемуарах и Сегюр.—L.-P. Ségur. Mémoires. Paris. 1827, II, p. 232.
173. Апол. Григорьев. Воспоминания. Лен. 1930 г., стр. 31.
174. A. Domergue. La Russie pendant les guerres de l'Empire. Paris. 1835, I, p. 170.

175. В 1778 г. некий иностранец Авг. Винцман намеревался открыть в Петербурге семинарию для крепостных, с целью обучения их архитектуре, оптике и механике. Курс обучения намечался четырехлетний, но школу предполагалось открыть лишь при наличии 30 учеников. Эта семинария так и не открылась.—„Наша Старина". 1916 г., кн. 2, стр. 147-48.—В 1835 г. в Лисине, близ Царского Села, была открыта для „помещичьих людей" егерская школа, где обучали арифметике, черчению, грамматике, геометрии, лесоводству и „егерскому искусству".—„Журнал министерства внутренних дел". 1836 г., т. 19, стр. 504.

176. J. Kohl. Petersburg in Bildern und Skizzen. Dresden u. Leipzig. 1841. II, S. 139.

177. А. Нифонтов. 1848 год в России. Москва. 1931 г., стр. 183.

178. Общественная и частная жизнь А. Шлецера. СПБ. 1875 г., стр. 29 и 117.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Иллюстрации воспроизведены из книг:

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

СОДЕРЖАНИЕ.

Ответств. и Технич. редактор *А. Колотушкин.*

Сдано в набор 3/VI 1933 г. Подписано к печати 14/IX 1933 г.

Форм. бум. 62×88. Тип. зн. в 1 п. л. 47.000.

Ленинградский Горлит № 24142. Тираж 5.000 экз.—6 1/2 л.

Тип. Госфиниздата, им. Котлякова, Ленинград, кан. Грибоедова, 30-32.

ЦЕНА 5 руб.